

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Вера Мильчина



ХРОНИКИ
ПОСТСОВЕТСКОЙ
ГУМАНИТАРНОЙ
НАУКИ

БАВННЫЕ, ЛОТМАНОВСКИЕ, ГАСПАРОВСКИЕ
И ДРУГИЕ ЧТЕНИЯ

Вера Мильчина

**Хроники постсоветской
гуманитарной науки**

2019

Мильчина В. А.

Хроники постсоветской гуманитарной науки / В. А. Мильчина — 2019

Трудно представить себе науку без конференций, без докладов и их обсуждений. Именно в живом диалоге ученые проверяют свои выводы, высказывают новые идеи, горячатся и шутят, приходят к согласию и расходятся во мнениях. Но «что остается от сказки потом, после того, как ее рассказали?» Ведь не все доклады обретают печатную форму, а от реплик, споров, частных бесед и самого духа дискуссий не остается ничего, кроме смутных воспоминаний. Можно ли перенестись в прошлое и услышать, как кипели страсти на первых постсоветских гуманитарных конференциях? Оказывается, можно: эта атмосфера сохранена в отчетах о тридцати историко-филологических чтениях 1991–2017 годов, написанных Верой Мильчиной, ведущим научным сотрудником ИВГИ РГГУ и ШАГИ РАНХиГС. Ее книгу можно читать как путеводитель по работам последних двадцати пяти лет, а можно – как фрагмент коллективной памяти научного сообщества и наброски к портрету целого поколения ученых, ушедших и ныне здравствующих.

Содержание

Отчет о проделанной работе	5
Эйдельмановские чтения	12
Первые Эйдельмановские чтения	12
Вторые Эйдельмановские чтения	15
Третьи Эйдельмановские чтения	18
Пятые Эйдельмановские чтения	23
Шестые Эйдельмановские чтения	29
Седьмые Эйдельмановские чтения (18 апреля 1997 года)[50]	34
Десять лет без Эйдельмана. Эйдельмановские чтения 1999 года[58]	38
Банные чтения	44
Песня методологической невинности (она же опыта)	44
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Вера Мильчина

Хроники постсоветской гуманитарной науки

Банные, Лотмановские, Гаспаровские и другие чтения

Отчет о проделанной работе

Недавно один молодой коллега спросил у меня, почему в научных статьях принято писать «мы полагаем», хотя полагает одно-единственное «я» – лично автор статьи. А я и сама не раз задумывалась о том, что традиция эта парадоксальная: почему-то считается, что от первого лица множественного числа говорить прилично и скромно, а от первого лица единственного – нескромно и заносчиво. Но в этой книге за «мы» мне никак не спрятаться. Я, лично я писала все эти отчеты, содержащие резюме чужих выступлений, и если есть в них огрехи, ошибки понимания, если я где-то спрямила или, хуже того, исказила чьи-то наблюдения, то виновата в этом опять-таки лично я. Но и «мы» безусловно присутствует здесь тоже. Мы – это научное сообщество, о деятельности которого мои отчеты, надеюсь, дают некоторое представление.

Признаюсь: хотя я очень люблю читать мемуары и не однажды цитировала и анализировала их в своих работах, ощутить мемуаристкой саму себя мне трудно. Я робею счесть себя человеком историческим – не в смысле гоголевского Ноздрева, с которым вечно случались какие-то истории, а в другом, более благородном смысле – как человека, принадлежащего истории и, главное, ее репрезентирующего. Разумеется, у меня, как у любого человека, накопился целый ряд историй, и смешных, и серьезных (из тех, что Ахматова называла «пластинками»), но для того, чтобы предаться воспоминаниям в печати, я еще не созрела. Другое дело – память коллективная, которая, надеюсь, сохранилась в хрониках, составленных по сравнительно свежим следам. Начиная с 1993 года я более или менее постоянно публиковала в «Новом литературном обозрении» отчеты о конференциях: чтениях Эйдельмановских, Банных, Лотмановских, Гаспаровских, Эткиндовских и некоторые других. Выбор объясняется исключительно тем, что в этих конференциях я сама принимала участие, так что выступала и в качестве докладчика, и в качестве хроникера.

Долгое время мне казалось, что мои отчеты – продукция «одноразовая», как, например, газетные рецензии. Это своего рода служба быстрого реагирования, по прошествии времени уже мало кому интересная, тем более что многие выступающие на конференциях рано или поздно превращают свои доклады в статьи, а то и в книги (впрочем, и газетные рецензии некоторые авторы сводят под одной обложкой, и порой в результате получают чрезвычайно выразительные картины литературной и/или политической эпохи¹). И хотя отдельные благодарные читатели несколько раз спрашивали у меня, не хочу ли я издать свои отчеты в виде книги, я всегда отвечала отрицательно. Мне казалось, что издавать рассказы о конференциях, да еще

¹ См., например, сборники «Дневник читателя», которые в 2004–2008 годах выпускал Андрей Немзер, или политическую публицистику Александра Архангельского в сборниках «Политкоррекция» (2002), «Гуманитарная политика» (2005) и «Базовые ценности: инструкции по применению» (2006). Совсем недавно собрали свои рецензии под одной обложкой Галина Юзефович («Удивительные приключения рыбы-лоцмана», 2016) и Анна Наринская («Не зяблик. Рассказ о себе в заметках и дополнениях», 2016).

двадцатипятилетней давности, это все равно что подавать на стол прошлогодний обед. А ведь мой любимый автор, сочинитель «Альманаха Гурманов» Гримо де Ла Реньер писал, что даже остатки обеда *вчерашнего* можно подавать на стол только «переодетыми», поскольку «слово „подогретый“ должно быть исключено из гурманского словаря раз и навсегда» [Гримо 2011: 290]. Между тем при вторичной публикации отчетов как раз «переодевать» их было бы неправильно: они имеют смысл только как более или менее документальное свидетельство.

Переменить решение меня заставили два эпизода. Во-первых, коллега Илья Виноцкий в сентябре 2017 года прислал мне свою свеженарисованную и тогда еще не опубликованную статью «„Цари ломбардски, сицилийски“: Граф Хвостов в тайном переводе графа де Местра», в которой ссылался на «доклад Вадима Парсамова о родстве и отличиях языковых утопий де Местра и Шишкова»². Я написала коллеге, что Парсамов опубликовал этот доклад в виде статьи в сборнике, выросшем из той конференции, где доклад был прочитан [Парсамов 2012]. На что получила ответ: «О докладе Парсамова я узнал из Вашей рецензии в НЛЮ (по материалам конференции о де Местре), а вот саму статью не нашел». Стало понятно, что мои отчеты даже по прошествии времени и даже при наличии опубликованных текстов докладов могут служить источниками полезной информации.

Это, кстати, не единственный случай, когда исследователи в научных работах ссылаются на мои отчеты; например, Вера Полилова в кандидатской диссертации «Рецепция испанской литературы в России первой трети XX века» (2012) к фразе об отсутствии специальных работ, посвященных наследию Б. И. Ярхо как переводчика и испаниста, делает примечание: «Некоторое исключение – доклад О. В. Смолицкой „Перевод как интерпретация древнего текста. „Песнь о Роланде“ в переводах Сергея Боброва и Бориса Ярхо“, сделанный в 2009 г. на Гаспаровских чтениях» – и дает ссылку на мой отчет, поскольку доклад Смолицкой, к сожалению, остался неопубликованным. Михаил Велижев в работе о Чаадаеве цитирует по моему отчету доклад А. Л. Осповата, поскольку доклад этот также остался неопубликованным [Велижев 2010а: 8]. Но особенно я горжусь двумя случаями: Михаил Леонович Гаспаров в «Записях и выписках» цитирует устный мемуар Валентина Берестова о Маршаке и сыне Пушкина по моему отчету [Гаспаров 2000: 170]. А Роман Давыдович Тименчик, припоминая «спецэффект обманутого рифменного ожидания в похабных двуликих куплетах с опоясывающей рифмой „На виноградниках Шабли...“», ссылается в скобках на мой пересказ доклада Г. А. Левинтона в НЛЮ № 104 за 2010 год [Тименчик 2016: 216].

Кстати, эта последняя цитация моего отчета особенно драгоценна, так как служит мне хотя бы частичным оправданием: ведь именно этот фрагмент отчета о XVII Лотмановских чтениях 2009 года стал предметом единственного до сих пор предъявленного мне как хроникеру упрека (см. нашу переписку с автором в примечании к отчету на с. 270–272). Тем ценнее для меня то, что спорный фрагмент упомянут в коллекции Р. Д. Тименчика и ссылка на него занесена на одну из его знаменитых карточек.

Я сказала, что встречающиеся кое-где ссылки на мои отчеты стали первым толчком, побудившим меня подумать о книжной публикации.

А вторым стали мои собственные впечатления. В интернете появилась видеозапись самого начала Первых Банных чтений, состоявшихся летом 1993 года³, и я решила перечитать опубликованный в 1994 году собственный отчет. И – сравнение банальное, но ничего лучшего тут, пожалуй, не придумаешь – как будто перенеслась на машине времени на двадцать с лишним лет назад. Вот тут я и стала думать, что в переиздании отчетов есть известный резон.

Некоторые из них можно прочесть в интернете, другие, более ранние, доступны только на страницах бумажной версии журнала, но и там и там они существуют порознь, каждый

² С тех пор Виноцкий эту статью опубликовал; см.: [Виноцкий 2017].

³ <https://www.youtube.com/watch?v=UWLTMPPHVnI>

в своем контексте. Сложенные же вместе, они имеют шанс стать биографией научного поколения, а вернее сказать, определенной его части, узловые точки которой очевидны: «Новое литературное обозрение», ИВГИ РГГУ, кафедра русской литературы Тартуского университета, Европейский университет в Санкт-Петербурге, Департамент истории и теории литературы (до 2019 года – Школа филологии) Высшей школы экономики, а также ученые, работающие кто в Лос-Анджелесе, кто в Оксфорде, кто в Анн-Арборе, кто в Торонто, но придерживающиеся схожих взглядов на историю литературы. Это, конечно, не *вся* наука о литературе последних двадцати пяти лет, но это представительный ее срез. Читая отчеты подряд, можно увидеть, как выстраиваются биографии отдельных исследователей: одни «оседлые», другие «кочевники», кто-то ведет свою тему постоянно, от одной конференции к другой, и потом из докладов составляет книгу, а кто-то всякий раз осваивает новые для себя территории; кто-то постоянно подает реплики в обсуждениях, а кто-то молчит; кто-то, прочтя доклад, очень скоро публикует его, а кто-то на конференции ошеломляет публику фейерверком оригинальных умозаключений – и потом не публикует их никогда⁴. Можно увидеть, как уходят из жизни те великие ученые, которые еще на нашей памяти принимали участие в конференциях; на XIII Лотмановских чтениях в декабре 2005 года поминали сразу трех великих: Михаила Леоновича Гаспарова, Владимира Николаевича Топорова и Елеазара Моисеевича Мелетинского, да и само возникновение этих конференций: Эйдельмановских, Лотмановских, Гаспаровских, Эткиндовских чтений – есть следствие ухода тех, чье имя они носят. Можно увидеть, как сюжеты и направления исследований становятся популярны и общеинтересны, а затем отступают в тень.

А самые первые, ранние отчеты важны еще и тем, что позволяют напомнить о переломе в истории нашей гуманитарной науки. Дело в том, что за прошедшие почти три десятка лет историко-филологические конференции с оживленными прениями и непринужденной дружеской атмосферой стали обыденной рутинной. Между тем в начале 1990-х годов сама идея, что коллеги-единомышленники могут собраться вместе не по приказу начальства, а совершенно добровольно и два или три дня подряд обсуждать всерьез, но одновременно и весело, без наукообразного занудства самые разные научные сюжеты, – сама эта идея казалась многим новой и непривычной. Конечно, конференции такого типа случались и раньше: в советское время нечто подобное происходило на домашних семинарах⁵, в эстонском Кяэрику на Летних школах по изучению знаковых систем⁶, в Тарту на семиотических и литературоведческих конференциях, взрослых и/или студенческих, в Резекне на Тыняновских чтениях или в каких-нибудь удивительных местах вроде московского института «Информэлектро», где в 1978 году Михаил Юрьевич Лотман сделал доклад об особенностях поэтики Годунова-Чердынцева – ни единым словом не выдав то, что, впрочем, было известно всем слушателям, а именно что поэт Годунов-Чердынцев не реальное лицо, а литературный персонаж, герой набоковского «Дара» (доклад о самом Набокове с прямым называнием его фамилии был в это время совершенно невозможен даже в укрономном и маргинальном «Информэлектро»). Но все эти семинары и конференции были скорее чудесными исключениями, чем правилом, происходили или в совсем неофициальной обстановке, или полуофициально, а если официально, то в результате долгой и тяжелой борьбы с начальственным сопротивлением.

И вот оказалось, что можно собираться прямо в центре Москвы без борьбы, а порой вообще не испрашивая разрешения у государственных инстанций. Сейчас, кажется, даже сами участники первых Банных или первых Лотмановских чтений нечасто вспоминают о том, как

⁴ Судя по моим подсчетам, до печати доходят примерно две трети произнесенных докладов; во всяком случае, в данном сборнике отреферировано 517 докладов, и из них 354 рано или поздно обрели печатный вид.

⁵ Об этой неофициальной форме развития гуманитарной науки см.: [Гаспаров 2006; Брагинская 2006б].

⁶ О царившей в Кяэрику атмосфере «шутки, праздничного сдвига будней» (Б. Ф. Егоров), «„домашней“ естественности» (Ю. И. Левин) см. в воспоминаниях участников летних школ: [Московско-тартуская школа 1998].

удивительно это было. Что уж говорить о нынешних двадцати- и двадцатипятилетних? Тем больше оснований напомнить, как все начиналось.

Конечно, при чтении отчетов подряд видно, что со времени первых Банных чтений, где игровая стихия гармонически соседствовала с обсуждением серьезных материй, все постоянные участники конференций повзрослели (чтобы не сказать постарели), сделались гораздо более серьезными и степенными, а вместе с ними посерьезнели и мои отчеты. Однако хочется надеяться, что первоначальный «банный» дух выветрился из наших умов и речей не окончательно.

* * *

Отчеты, вошедшие в сборник, – мои, то есть написаны мною; но содержание их безусловно наше, общее, и «проделанная работа» – тоже. Получается такой навигатор по сделанному за 25 лет филологами и историками разного возраста и разных узких тематических специализаций, но объединяемых общими научными ориентирами (воплощенными прежде всего в фигурах тех ученых, именами которых названы описанные в книге конференции) и – не всегда, но довольно часто – давними дружескими связями, что для успеха конференции, в отличие, например, от составления сборника научных статей, далеко не безразлично.

Как ни парадоксально, в каком-то смысле эти отчеты о конференциях, соединенные под одной обложкой, отчасти напоминают проект, который два десятка лет назад вызывал огромные споры и – у многих гуманитариев – довольно резкое неприятие. Я имею в виду серию книг под общим названием «Все шедевры мировой литературы в кратком изложении». Тогда, в 1996 году, помнится, многие тонкие ценители изящной словесности очень возмущались подобным святотатством, хотя ведь пересказы не отменяли оригиналы и не закрывали доступ к ним, а какому-то читателю, возможно, наоборот, указывали к этим оригиналам дорогу. Вот и моя книга – это, можно сказать, «все шедевры» наших конференций в кратком изложении. Конечно, рядом с полными текстами докладов мои пересказы – это, выражаясь пушкинскими словами, «с живой картины список бледный, или разыгранный Фрейшиц перстами робких учениц». Но можно считать их путеводителем в самом прямом, этимологическом смысле слова – указанием пути к полным текстам (ссылки на которые даны в подстрочных примечаниях). Это если смотреть с точки зрения читателей. Что же касается докладчиков, то, как выяснилось из бесед с некоторыми из них, они могут воспользоваться сборником моих отчетов по-своему – как своего рода списком дел, не доведенных до конца, напоминанием о тех докладах, которые еще ждут своего печатного воплощения.

Разумеется, отчеты о конференциях пишу и публикую далеко не я одна. Но некоторые «летописцы» ограничивают свою роль тем, что собирают с докладчиков их резюме и сводят в один текст; в этом случае мы, конечно, выигрываем в аутентичности, но проигрываем в передаче атмосферы, дискуссий и перепалок в обсуждениях. А я работаю по собственным записям, что позволяет реферировать также и обсуждения докладов, в том случае, конечно, если они кажутся мне достаточно интересными для тех, кто на конференции не присутствовал. Кроме того, мало кто занимается этим сочинением отчетов с таким постоянством (удивительным для меня самой): мой первый, короткий отчет (о Первых Тыняновских чтениях) был опубликован в 1983 году [Мильчина 1983], а с 1991 года я занимаюсь этим делом более или менее систематически и опубликовала в общей сложности 61 отчет (в момент, когда я пишу это предисловие, еще три находятся в печати). То есть я хроникер со стажем.

Пересказ чужих докладов – дело рискованное, потому что субъективное. Я, конечно, стараюсь записывать как можно ближе к тексту⁷ и даже однажды получила комплимент от

⁷ Сейчас, с появлением у многих докладчиков компьютерных «презентаций», жизнь хроникера существенно облегчилась,

Александра Жолковского, который по причине близости пересказа к оригиналу заподозрил, что я конспектировала писанный текст (чего не было), но все равно мои отчеты субъективны. Из-за того, что я пишу, «как слышу», я всегда опасаясь, что какой-нибудь докладчик, которого я недопоняла и представила в искаженном свете, предъявит мне рекламацию и обвинит в диффамации. ... Впрочем, как я уже сказала, пока такой строгий критик нашелся только один, а остальные молчат (потому ли, что всем довольны, как известный английский мальчик из анекдота, который заговорил, только когда ему подали подгоревший пудинг, или потому, что просто не читают моих отчетов?). Некоторые докладчики, к моему удовольствию, ссылаются на отчеты как на надежный источник [Мазур 2010а: 294, примеч. 59], а кое-кто даже благодарил за прояснение в пересказе основных линий доклада. И вообще упреков бояться – отчетов не писать.

Между прочим, эти тревоги хроникера я уже запечатлела как раз в одном из отчетов:

Вообще сочинение таких отчетов чем-то напоминает ту деятельность, которую во вступительном слове к Гаспаровским чтениям – 2007 Александр Осповат определил как способность представлять говорящему его собственные слова в «обглоданном виде», – способность, которой превосходно владел сам Гаспаров. Гаспаровское «обглаживание», однако, способствовало корректированию и реформированию чужих реплик; сочинитель же отчета на это, разумеется, не претендует, ему бы передать содержание этих самых «реплик» с как можно меньшими потерями (с. 457).

В 2003 году в диалоге с Ириной Прохоровой и Ильей Кукулиным о формах проведения конференций и их отражения в печати Мария Майофис высказала предположение, что традиционные, «старорежимные» отчеты должны уйти в прошлое:

Этот жанр не должен быть скупой средневековой хроникой. От самого хрониста требуется достаточно вдумчивое, концептуальное отношение ко всему тому, что он слышит и протоколирует. Тексты о конференциях не могут быть просто пересказами докладов (такой пересказ, может быть, даже наименее важная вещь). Нужно понять, какие есть способы и возможности заметить и зафиксировать какие-то узловые проблемы, схождения и расхождения, которые образуются на конференции [Прохорова, Майофис, Кукулин 2003: 514].

Я далеко не столь радикальна; на мой взгляд, цель «хрониста» – по свежим следам именно воспроизвести чужие слова и тем самым дать материал теоретикам, умеющим и любящим обобщать и «фиксировать узловые проблемы». Во время Первых Банных чтений состоялась знаменательная дискуссия между «социологами» в лице Бориса Дубина и Абрама Рейтблата и филологами (все остальные) относительно возможности и необходимости (или, напротив, невозможности и ненужности) создания «карты Англии в масштабе самой Англии» (см. с. 78). Мне, помнится, тогда казалось, что такая карта, конечно, недостижима, но как это жаль! Как прекрасно было бы, не выходя из дома и не получая визы, гулять по этой самой полномасштабной Англии! Но увы, всю Англию за несколько часов не обойдешь и глазом не окинешь. *Концепция* Англии гораздо более компактна и удобна для пользования, но тут другая опасность: концепция может слишком существенно отличаться от самой Англии. Отчеты-пересказы – компромиссный вариант между Англией в масштабе самой Англии (конференция целиком от первого до последнего слова) и «концептуальным» изложением ее основной идеи в двух-трех абзацах.

однако к этому визуальному сопровождению прибегают отнюдь не все, и это в каком-то смысле к счастью: необходимость фотографировать изображения на экране рассредоточивает внимание.

Отдельный вопрос – поэтика и прагматика докладов и их реферирования. По моим личным вкусовым ощущениям, когда докладчик монотонно бубнит и «зачитывает» (это чудовищное слово довольно точно передает реальность: именно зачитывает, как замучивает до смерти) готовый текст, это, мягко говоря, не оптимальный вариант ни для слушателей, ни для науки. Конечно, мне случалось слышать блестящие доклады, прочитанные (но все-таки не зачитанные!) по готовому тексту. Но я гораздо больше люблю, когда докладчик мыслит на ходу, импровизирует, отрывается от написанного текста или конспекта ради каких-то только что пришедших в голову реплик и ремарок. Иначе не стоит и на конференцию приходить, лучше сразу отдавать статью в печать. Дело в том, что на конференциях мы, конечно, занимаемся серьезным делом, анализируем, двигаем вперед науку, а также ублажаем алчное чудовище по имени Наукометрия, которому постоянно требуется все новая и новая информация о нашем участии в конференциях межвузовских, всероссийских, международных (первые из описанных мною конференций в этом смысле были куда более бескорыстны). Но этим же серьезным делом мы занимаемся и в печатных статьях, однако не всякая будущая статья хороша в качестве доклада. Все-таки доклад должен быть слегка концертным (чтобы не сказать: эстрадным) номером – не в ущерб содержанию, разумеется, а, так сказать, для вящего его украшения. И я старалась в своих отчетах сохранять те блестящие занимательного и/или смешного, которые украшают самые степенные и глубокие выступления.

* * *

Несколько слов об отборе текстов. В сборник вошли не все написанные мною отчеты. Все не поместились бы под одной обложкой; пришлось выбирать. За пределами книги остались: 12 отчетов о конференциях, проводившихся не в России⁸; 11 отчетов о конференциях, проводившихся в России и увенчавшихся изданиями сборников⁹; два отчета о круглых столах в ИВГИ РГГУ «Национализм в имперской России» (2001) и «Национальная идея в XIX веке» (2002)¹⁰; и наконец, новейшие отчеты о конференциях 2018 года¹¹.

Тексты печатаются в том же виде, в каком они были опубликованы впервые. Кое-где внесена незначительная стилистическая правка. Везде, где доклады превратились в печатные тексты: статьи или главы книг, – я даю отсылку к этой публикации. Огромное спасибо всем

⁸ См.: НЛО. 1996. № 19 («Европейская общежительность и характеры наций: взгляды народов друг на друга», Париж, 1995); 2008. № 93 («Образ иностранца: французы в России, русские во Франции», Париж, 2008); 2009. № 97 («Стендаль и романтизм», Гренобль, 2009); 2010. № 102 («Русские эмигранты во Франции в XIX – XX века: вымысел и реальность», Страсбург, 2010); 2010. № 105 («Французы в России, 1789–1917: новые источники и новые подходы», Париж, 2010); 2011. № 109 («Интеллектуалы, власть и литература, XVIII–XX вв.», Париж, 2010); 2011. № 110 («Построение собственного образа: русские и французские варианты», Кан, 2010); 2011. № 111 («Шатобриан и художественное повествование: предшественники и последователи, традиции и новаторство», Тулуза, 2011); 2012. № 113 («Французы в интеллектуальной и научной жизни России XIX века», Париж, 2011); 2012. № 118 («Взглянуть в лицо врагу: образ врага в культуре, XIX – XX века», Нантерр, 2011); 2014. № 129 («Россия – Швейцария: контакты, взаимосвязи, взаимовлияния, XVIII – XXI вв.», Женева, 2014); 2015. № 135 («Русские во Франции, 1814 год: Факты. Литература. Мемуары», Париж, 2014).

⁹ См.: Теория и мифология книги. Французская книга во Франции и России. М., 2007; Актуальность Жозефа де Местра. Материалы российско-французской конференции. М., 2012; Россия и Франция XVIII–XX вв. Лотмановские чтения. М., 2013; Russian sociological review. 2014. Vol. 13. № 3. P. 193–218; Вторые Глазычевские чтения. Город о себе: языки самоописания. М., 2015; Вольность и точность. Гаспаровские чтения – 2014. М., 2015; Семиотика поведения и литературные стратегии: Лотмановские чтения – XXII. М., 2017; Эткиндовские чтения VIII, IX: по материалам конференций «Там внутри» 2015 г., «Свое чужое слово» 2017 г. М., 2017; Ф. В. Булгарин – писатель, журналист, театральный критик. Материалы международной научной конференции (Москва, РГБИ, 30–31 октября 2017 г.). М., 2019; Переводы классики старые и/или новые (ШАГИ/ STEPS. 2019. Т. 5. № 3; в печати).

¹⁰ См.: Ab Imperio. 2001. № 3; 2002. № 2.

¹¹ См.: НЛО. 2018. № 154 (Международная научная конференция памяти Ефима Григорьевича Эткинда: к 100-летию со дня рождения; Тексты и контексты: «Философские этюды» О. де Бальзака); НЛО. 2019. № 155 (Гаспаровские чтения – 2018); НЛО. 2019. № 156 (XVI Лотмановские чтения «Литература и...»).

докладчикам, которые помогли мне уточнить библиографию: и тем, кто присылал ссылки, и тем, кто подтверждал отсутствие публикации, и в особенности тем, кто признавался, что вообще плохо помнит, о чем говорил двадцать пять лет назад; это лишнее оправдание моего хроникерского труда. Но свой пересказ я с печатным текстом не сравнивала; я пересказываю по своим записям так, как я поняла докладчиков. «Мы понимаем только то, что можем пересказать», – заметил (разумеется, по другому поводу) М. Л. Гаспаров¹². В моем случае эту мысль правильнее было бы вывернуть наизнанку: «Мы пересказываем только то, что можем понять».

¹² [Гаспаров 2002; то же: Гаспаров, Подгаецкая 2000: 163].

Эйдельмановские чтения

Первые Эйдельмановские чтения (18 апреля 1991 года)¹³

18 апреля, в день рождения замечательного историка и писателя Натана Яковлевича Эйдельмана (1930–1989), в редакции журнала «Знание – сила» состоялись научные чтения его памяти (выбор места объясняется тем, что Натан Яковлевич был верным и давним сотрудником и поклонником этого журнала; по свидетельству одного из участников чтений, он восхищенно говорил: «Это единственное издание в мире, где в редколлегию входят целых три моих одноклассника»). Убранство зала, в котором проходили чтения, наверняка заставило бы довольно усмехнуться Натана Яковлевича, чуткого ко всевозможным «странным сближениям» в пространстве и времени: дело происходило в просторной мастерской фотохудожника, оформляющего журнал, в окружении всевозможных чудес фотоколлажа, вроде мясорубки, изготовляющей фарш из бумажных денег...

Открывая чтения, один из главных организаторов, историк *Андрей Тартаковский*, подчеркнул их отличие от предыдущих вечеров, посвященных памяти Эйдельмана; следует, сказал он, попытаться перейти от лирических восхвалений к объективной – по возможности – оценке вклада, внесенного Натаном Яковлевичем в науку и литературу.

Этой цели, пожалуй, наиболее полно отвечал доклад *Георгия Кнабе «Современное общественно-историческое познание и творчество Эйдельмана»*, замечательный своей широтой и оригинальностью подхода. Кнабе начал с той исторической среды, которая сформировала Эйдельмана как личность; среду же эту он рассмотрел не только в контексте истории Советского Союза – что само собой разумеется, – но и в контексте истории всей мировой цивилизации во второй половине XX века. Эйдельман сложился как ученый в 60-е годы – то есть в эпоху, когда острое осознание того факта, что в предшествующий период *макроистория* была предельно отчуждена от отдельного человека, привело по контрасту к своеобразному культу *микросреды* (в качестве примеров этого культа докладчик упомянул такие феномены, как «рок-концерт», «московская кухня», миф об Арбате, а конкретно в творчестве Эйдельмана – повышенное внимание к школе и одноклассникам, отголоском которого стал его интерес к лицейской теме в поэзии и биографии Пушкина). С другой стороны, 60-е годы – это эпоха, когда повседневность стала формой культуры, а исследователи культуры осознали, что изучать исторический процесс следует через быт, повседневность. В 60-е годы во Франции окончательно сложилась исповедующая эти взгляды влиятельная школа «Анналов», а в СССР и других странах возникла и стала бурно развиваться семиотика – наука о бытовой среде как знаковой системе; все это – та атмосфера, которая питала творчество Эйдельмана. Однако оно, подчеркнул докладчик, не сводимо к этим источникам. Своеобразие эйдельмановской манеры писать и мыслить, сказал Кнабе, заключалось в том, что в основе ее лежало неразрешимое противоречие между двумя установками: с одной стороны, на художественность, писательство, а с другой – на научное историческое исследование. Два этих подхода в принципе не совместимы: первый предполагает наличие у каждого человека, включая современного повествователя, особого, частного пути; второй – веру в объективную истину, не зависимую от личного

¹³ Впервые: Русская мысль. 1991. 24 мая. В газетной публикации речь шла просто о Чтениях памяти Эйдельмана, поскольку в тот день было еще непонятно, что за ними последуют вторые, третьи и проч. и потому эти окажутся первыми.

опыта исследователя. Тем не менее Эйдельман пытался совместить несовместимое, и именно на этом пути, по мнению Кнабе, ждали его самые большие удачи.

Остальные доклады были посвящены темам менее глобальным; их можно разделить на две категории; к первой относятся выступления, посвященные непосредственно тем или иным аспектам творчества Эйдельмана; ко второй – сообщения на «Эйдельмановские» темы (круг же интересов Н. Я. был настолько широк, что включал, как выяснилось в ходе чтений, даже проблему Атлантиды; об этом рассказал геолог и поэт *Александр Городницкий*).

Из докладов первого рода назову носившее преимущественно мемуарный характер выступление историка декабристского движения *Игоря Пороха*, доклад *Александра Чудакова*, рассмотревшего особенности писательской манеры Эйдельмана (обращение со временем, пространством, предметным миром и проч.), и доклад *Александра Володина*, подчеркнувшего огромное нравственное и историософское влияние, которое оказало на Эйдельмана творчество Герцена. Два докладчика остановились более подробно на конкретных книгах Эйдельмана.

Андрей Немзер в докладе «*Вариативность в истории; историческая наука и художественная литература*»¹⁴ прокомментировал знаменитый эпизод из книги «Апостол Сергей», показывающий, как развивались бы события, если бы декабристы победили. Докладчик напомнил, что тема «возможной», несбывшейся истории стала крайне популярной в русской литературе последних двух десятилетий; он упомянул в этой связи и проанализировал такие книги, как «Роммат» В. Пьецуха, «Остров Крым» В. Аксенова, «Кенгуру» Ю. Алешковского, «Палисандрия» Саши Соколова. Однако если все названные писатели, по мнению Немзера, убеждены в том, что история при любом развитии событий непременно придет в ту же точку, и испытывают потребность отменить историю в принципе, то Эйдельман в своей «гипотетической» главе исходил из совсем иного – из убежденности в многомерности человеческой личности.

Андрей Зорин в докладе «*Павел I в русской литературно-исторической традиции и „Грань веков“*» рассмотрел развитие образа Павла I в научной и художественной литературе XIX – начала XX века. От Пушкина до Ходасевича в русской литературе бытовала традиция, согласно которой Павел представлялся рыцарем-одиночкой, противопоставившим себя толпе и погибшим от ее рук («романтический наш император», назвал его Пушкин); в формировании этой традиции большую роль сыграли многочисленные исторические анекдоты о Павле. С другой стороны, в начале XX века в исторической науке постепенно сложился взгляд на Павла не как на полусумасшедшего неврастеника, но как на трезвого и последовательного политика, ущемлявшего права дворянства и тем навлекшего на себя гибель. Эйдельман в своей книге совмещает оба подхода, причем чисто научные средства анализа он сопрягает со средствами художественными, в частности, рассматривает Павла сквозь призму двух «вечных образов», которые упоминали, говоря об императоре, еще современники, – образов Гамлета и Дон Кихота.

Крайне любопытен был доклад *Александра Ильина-Томича* «*Биобиблиография Н. Я. Эйдельмана как историко-культурная проблема*». Докладчик коснулся темы столь же важной, сколь и деликатной: будучи по призванию просветителем, Эйдельман выступал, кажется, всюду, куда его звали, – и это было великим благом для слушателей. Но до какой степени шло это на пользу его дару историка и исторического писателя? Сколько книг и научных исследований он не успел написать оттого, что растрчивал себя на эту – безусловно крайне важную – просветительскую деятельность?

Несколько докладов, как уже было сказано, касались не творчества Эйдельмана, но тех тем, которые наверняка заинтересовали бы его самого, имея он возможность познакомиться с этими докладами. *Вадим Вацуро* предложил вниманию аудитории комментарий к одной доселе не откомментированной лицейской эпиграмме Пушкина и блестяще доказал, что осме-

¹⁴ См.: [Немзер 2003: 19–42].

янный в ней Арист – не кто иной, как прославленный драматург Капнист¹⁵. *Вера Мильчина* и *Александр Ошоват* на примере неопубликованной переписки А. И. и Н. И. Тургеневых, связанной с подготовкой к печати книги последнего «Россия и русские» (1847), показали, как сосуществовали и боролись в русском обществе XIX века два взгляда на миссию литератора. Если многолетний друг Тургеневых В. А. Жуковский считал, что дело литератора – доводить свои реформаторские идеи до сведения императора, ибо он один способен дать им ход с пользой для отечества, то братья Тургеневы придерживались иной точки зрения; они полагали, что право и долг литераторов-публицистов – апеллировать непосредственно к общественному мнению (проблематика, не утратившая своей важности и поныне).

Наконец, два доклада – *Игоря Яковенко* («*Реформы и контрреформы в России*») и *Ильи Смирнова* («*Особенности и закономерности русских революций*») – были посвящены глобальным культурологическим и историософским проблемам и служили как бы развернутым комментарием к последней книге Эйдельмана «*Революция сверху в России*».

Закljučая этот краткий отчет, скажу, что, если проведение Эйдельмановских чтений войдет в традицию, они имеют шанс стать значительным событием в культурной жизни Москвы.

¹⁵ См.: [Вацуро 1994: 75–82].

Вторые Эйдельмановские чтения (18 апреля 1992 года)¹⁶

В конце Первых Эйдельмановских чтений, состоявшихся в день рождения замечательного историка и писателя Натана Яковлевича Эйдельмана (1930–1989), 18 апреля 1991 года, в Москве в редакции журнала «Знание – сила», главный редактор журнала Григорий Зеленко пригласил всех собравшихся прийти ровно через год, в тот же день 18 апреля, на Вторые чтения. За этот год мы пережили столько событий, что никто бы не удивился, останься обещание, данное в прошлом апреле, невыполненным. Однако благодаря энергии организаторов, редакции журнала и Комиссии по литературному наследству Эйдельмана (председатель – А. Г. Тартаковский), Вторые чтения состоялись.

Открылись они докладом *Андрея Серкова «Тайные ордена в России (от Павла I до декабристов)»*¹⁷. Докладчик, изучивший огромный и поистине уникальный материал, хранящийся в российских архивах, изложил свой взгляд на происхождение декабристского движения. Если один из источников этого движения – дружеский кружок, артель, то вторым является масонская ложа, превращающаяся сначала в тайный рыцарский орден, а затем в национально-патриотическую революционную организацию, каким был знаменитый «Орден русских рыцарей». Докладчик показал роль своеобразного мифотворчества в становлении тайных орденов: каждая новая система, отпочковывавшаяся от масонского движения, находила себе исторический «прототип», к которому возводила (не слишком заботясь о фактической достоверности) свою организацию. Так, в России адепты шведской масонской системы называли своими родоначальниками тамплиеров; другой тайный орден XVIII века, «Орден злато-розового креста», связывал свое происхождение с розенкрейцерами; наконец, император Павел I создал в России мальтийский орден, имевший с реальным мальтийским орденом сходство скорее символическое, чем фактическое. Особенный интерес представляли изложенные докладчиком сведения об «Ордене крестовых черных рыцарей», созданном в 1812 году и ставшем непосредственным предшественником «Ордена русских рыцарей». Обе организации были близки по структуре и возглавлялись одними и теми же людьми (ключевой фигурой в «Ордене черных крестовых рыцарей» был Н. И. Тургенев), однако целью первой была борьба с внешним врагом (не случайно возникла она в тот год, когда началась война России с наполеоновской Францией), вторая же выступала против врага внутреннего. Подобная эволюция, по мнению докладчика, также типична для тайных орденов.

Олег Проскурин дал своему докладу название на первый взгляд экстравагантное, но точно соответствующее содержанию – «Миф об „Арзамасе“ в русских доносах и русской мемуаристике»¹⁸. Дело в том, что первым «мемуаристом», давшим развернутую письменную характеристику знаменитому литературному «обществу безвестных людей», которое противопоставило тяжеловесному «славянофильству» шишковской «Беседы» космополитическое остроумие «галиматьи», был печально известный Фаддей Булгарин, по запросу «инстанций» составивший в 1826 году «Записку об „Арзамасе“». Поскольку членами «Арзамаса», хотя и не самыми активными, были такие видные участники декабристского движения, как Н. И. Тургенев и Н. М. Муравьев, напрашивался вывод о неблагонадежности этого литературного общества. Булгарин поддерживает эти обвинения в полной мере, однако приписывает злонамеренность отдельным «арзамасцам», а именно Н. И. Тургеневу и С. С. Уварову (докладчик

¹⁶ Впервые: НЛО. 1993. № 2.

¹⁷ Итог многочисленным работам А. Серкова, посвященным тайным орденам и масонству, подведен в: [Серков 2009].

¹⁸ См. прежде всего двухтомник: [Арзамас 1994], в подготовке которого О. А. Проскурин принял активнейшее участие, а также статью: [Проскурин 1996].

виртуозно объяснил причины, по которым в доносе оказались уравнены противник рабства Николай Тургенев и будущий создатель теории «православия, самодержавия и народности» Сергей Уваров). Все дальнейшие мемуаристы XIX века, писавшие об «Арзамасе» (Жуковский, Вигель, Блудов, Вяземский), в той или иной степени осознанно полемизировали с Булгариным, всячески подчеркивая «пристойность», благонамеренность «Арзамаса», сугубо несерьезный характер его заседаний. Напротив, советские исследователи по контрасту старались отыскать в деятельности «Арзамаса» черты неблагонадежные, иными словами – революционные, и превозносили это общество не за то, чем оно было, а за то, чем оно едва не стало, и особенно подчеркивали, что вступившие в него на закате его существования М. Ф. Орлов и Н. И. Тургенев едва не сделали его филиалом тайного общества. Меж тем, справедливо заключил докладчик, «Арзамасу» не нужны чужие, революционные лавры; он внес огромный вклад в русскую словесность именно благодаря той культуротворческой «галиматье», которая составляла *сердцевину его литературной деятельности*.

Георгий Кнабе в докладе «„Пушкин и Мицкевич“ Н. Я. Эйдельмана и семиотика „Медного всадника“»¹⁹ подверг семиотическому и культурологическому рассмотрению восприятие знаменитой Фальконетовой скульптуры. Мелкий, на первый взгляд, факт: люди XVIII века не замечали, что из-за отсутствия небольшого выступа в передней верхней части скалы постамента копыта коня как бы нависают над бездной. В XVIII веке все «прочитывали» в памятнике лишь тот смысл, который заранее сформулировал скульптор: великий царь, преодолев косность своего народа, возводит его на вершину просвещения. Смысл же памятника, который благодаря пушкинской поэме очевиден для нас, людей XX века («...над самой бездной... Россию вздернул на дыбы...»), был впервые замечен лишь в 30-е годы XIX века. Это, по мнению докладчика, лишний раз доказывает, что для культуры важна не материальная действительность, но семиотический облик этой действительности; сходным образом борода С. Т. Аксакова, с «парикмахерской» точки зрения сугубо скандинавская, и его зипун, в реальности сшитый у французского портного, единодушно воспринимались современниками как воплощения и символы исконно русского, православного внешнего вида.

В докладе Веры Мильчиной и Александра Осповата «Неизданная переписка А. И. Тургенева с П. Я. Чаадаевым (1835–1836)»²⁰ была дана характеристика неопубликованных писем А. И. Тургенева, значение которого как эпистолярного собеседника Чаадаева далеко не всегда осознается в полной мере. Вводимые в научный обиход тексты позволяют проследить историю восприятия первого «Философического письма» в среде европейских католиков (среди них – французский философ П. С. Балланш) до его напечатания в «Телескопе» и уточняют представление об идейном споре Чаадаева и Тургенева – двух «диссидентов» (в исконном значении слова), один из которых двигался от официального православия в сторону католической всемирности, а другой – в сторону протестантской терпимости.

Александр Формозов в докладе «Н. Щедрин и историческая наука»²¹ показал, как неплохие познания в русской истории и историографии сочетались у автора «Истории одного города» с почти оскорбительным пренебрежением к деятельности конкретных исследователей прошлого, тех самых издателей «Русского архива», «Русской старины» и других бесценных сборников, которым мы обязаны доброй половиной наших познаний об ушедших эпохах (самый красноречивый, хотя и не самый приличный образец презрительного отношения Михаила Евграфовича к историкам – надпись, сделанная им во время болезни на пузырьке, приготовленном для анализа: «Моя моча. После моей смерти отдать собаке Бартеневу для

¹⁹ См.: [Кнабе 1993].

²⁰ Полное издание переписки Чаадаева с Тургеневым по-прежнему ждет своего часа, но некоторые ее аспекты освещены в ряде публикаций; см.: [Мильчина, Осповат 1995–1996; Мильчина, Осповат 2006; Мильчина, Осповат 2008].

²¹ См.: [Формозов 1995; Формозов 2012].

„Русского архива“»). Впрочем, как справедливо указал докладчик, подобное пренебрежение к науке о прошлом, и в особенности к культуре исторического анекдота, которую так высоко ценил А. С. Пушкин, было свойственно не лично Щедрину, но целому поколению литераторов-разночинцев второй половины XIX века.

Андрей Немзер в докладе «*Миф о Сибири в русской литературе*» показал на длинном ряде текстов (от «Жития» протопопа Аввакума до «Доктора Живаго» Б. Пастернака), что Сибирь в русской литературе неизменно изображается как аналог преисподней, ада, но одновременно и как земля обетованная, дающая грешнику шанс воскреснуть, исцелиться и обновиться. Особенно любопытны наблюдения докладчика над «Историей государства Российского» Карамзина, где в главе о завоевании Сибири, предшествующей рассказу о смерти Ивана Грозного, это завоевание представлено как своего рода искупление грехов кровавого царя.

Поскольку интересы Н. Я. Эйдельмана были очень широки и отнюдь не ограничивались историко-литературной тематикой, в программу Чтений вошли два доклада, носящие общетеоретический характер и не связанные напрямую с историей русского XIX века, изучению которой посвятил себя Эйдельман.

Игорь Г. Яковенко в докладе «*Сталинизм: границы явления*»²² рассмотрел сталинизм как форму перехода от «теоцентристского» к «посттеоцентристскому» обществу (по терминологии докладчика), характерную для православных стран (тезис, вызвавший оживленную дискуссию и несогласие части аудитории).

Наконец, *Модест Колеров* в докладе «*Воссоздание индивидуальности. П. Н. Милюков, М. О. Гершензон, Н. Я. Эйдельман*» показал, как три ярких, хотя и далеко не во всем схожих представителя исторической науки решали извечную проблему соотношения и разграничения в исследуемой личности индивидуального и типичного, того, чем человек обязан собственному темпераменту, и того, что привнесла в его индивидуальность эпоха.

Вторые Эйдельмановские чтения состоялись. Было бы прекрасно, чтобы, сколько бы перемен ни произошло в нашей жизни до апреля 1993 года, 18 апреля следующего года редакция журнала «Знание – сила» вновь смогла бы исполнить свое обещание и созвать докладчиков и слушателей на Третьи Эйдельмановские чтения.

²² См.: [Яковенко 1992].

Третьи Эйдельмановские чтения (20 апреля 1993 года)²³

Прислушавшись к критике газеты «Сегодня», упрекнувшей редакцию НЛО за то, что отчет о Вторых Эйдельмановских чтениях вышел в свет за неделю до того дня, на который назначены Третьи чтения, спешим сообщить, что Третьи Эйдельмановские чтения состоялись 20 апреля 1993 года.

Успех Третьих чтений объясняется, на мой взгляд, прежде всего тем, что большая часть докладов не носила юбилейно-агиографического характера, а была посвящена тем конкретным вопросам истории литературы и истории России, которыми занимался Н. Я. Эйдельман (круг же таких вопросов, в силу многогранности интересов Натана Яковлевича, был крайне широк). Исключением явился открывший чтения доклад *Владимира Порудоминского «Из наблюдений над стилем исторической прозы Н. Я. Эйдельмана»*²⁴, некоторой расплывчатостью и невняtnостью рассуждений заметно отличавшийся от остальных выступлений. Докладчик совершенно справедливо утверждал, что Эйдельман не перерабатывал документальные материалы в собственные вещные образы, а использовал те образы, которые предлагались документами, что в его прозе отсутствуют цветочные эпитеты и почти нет диалогов (кроме диалога документов). Однако настораживало недоумение, с которым Порудоминский констатировал, что если в документах упоминается «лодка крестьян», то и Эйдельман в своем тексте постоянно возвращается к этой лодке, а вот если бы в документе стояла «телега», то Эйдельман, наверное, писал бы о телеге. Недоумение это внушало подозрения, что докладчик не совсем четко сознает отличия исторической прозы Эйдельмана от исторической прозы, оперирующей преимущественно образами типа: «он подошел к окну – все было мрак и вихрь». Эта нечеткость восприятия (или изложения) закономерно привела к тому, что один из слушателей поинтересовался, в чем же в конце концов разница между «исторической прозой» Эйдельмана и, страшно сказать, Пикуля (у которого многие из перечисленных «признаков» также присутствуют). «Кошунственный» вопрос очень удачно оживил приунывшую аудиторию и побудил *Андрея Немзера* произнести монолог об эволюции творчества Пикуля от подражания историческому или нравоописательному роману второй половины XIX века до подражания не кому иному, как Эйдельману, чья популярность среди интеллигентных читателей вызвала у Пикуля соревновательный пыл и на чьей прозе Пикуль явно учился (другой вопрос, насколько уроки пошли впрок). Реплику Порудоминского о том, что главное отличие Эйдельмана от Пикуля состоит в «идейной позиции», очень уместно откомментировал *Сигурд Шмидт*, напомнивший, что Эйдельман всегда оставался историком-профессионалом, действовавшим в русле современной мировой исторической науки (с которой его роднит, в частности, внимание к каждодневному быту прошедших эпох), что Эйдельман чувствовал и умел изобразить «безымянные» вещи и время, Пикуль же и романисты его толка знают из истории лишь имена и события.

После этой литературно-критической и теоретической интермедии публика обратилась к эпохе Карамзина и Пушкина.

Доклад *Сергея Панова «Из литературных отношений карамзинистов»* был посвящен механизму формирования литературных репутаций в первой трети XIX века. Если в XVIII веке, чтобы «уронить» противника, достаточно было дискредитировать его тексты, а обвинения, касавшиеся пороков не сочинительских, но житейских, вели к житейским же неприятностям, то в начале XIX века ситуация меняется. Механизмы литературной жизни стараниями карамзинистов оказываются ориентированы на правила светского общежития. Писа-

²³ Впервые: НЛО. 1993. № 3.

²⁴ Очерк об Эйдельмане, выполненный примерно в той же стилистике, см.: [Порудоминский 2009].

тельский универсум организуется по придворно-светскому и салонному образцам. Карамзинисты ставят в упрек своим противникам их неспособность и неумение следовать нормам правильного светского поведения, причем дурное поведение и писание дурных стихов оказываются взаимозаменяемы и неизбежно служат поводом к осуждению: Булгарин нарушает правила человека чести, следовательно, он плохой автор; Хвостов пишет нелепые стихи, следовательно, он плохой человек (и ведет себя как шут). Конкретный механизм формирования репутации исходя из подобных принципов докладчик продемонстрировал на примере И. И. Дмитриева, главной заботой которого на протяжении всей жизни было создание не столько текстов, сколько собственного имиджа (поведение, парадоксальным образом напоминающее литературные установки новейших постмодернистов – например, Д. Пригова). Пост министра юстиции Дмитриев получил прежде всего потому, что к нему было в высшей степени расположено общественное мнение, а свою отставку использовал для повышения в светском обществе своего литературного веса. Главным оружием его были закулисные литературные интриги и употребление инспирированных им текстов и авторов в качестве «кнута» для наказания литературных противников; одним из финальных эпизодов этой «интриганской» деятельности Дмитриева явилась засылка его сподвижника и поклонника П. А. Вяземского сотрудником в далекий от карамзинистских устремлений журнал разночинца Н. А. Полевого «Московский телеграф».

Олег Проскурин в докладе «*Вокруг одной эпиграммы Пушкина*» изложил свою версию датировки и истории создания эпиграммы на Стурдзу: «Холоп венчанного солдата, / Благодарю свою судьбу: / Ты стоишь лавров Герострата / И смерти немца Коцебу»²⁵. По мнению докладчика, эпиграмма была написана не в апреле – мае 1819 года, как обычно считается, а в первой половине июля. Свою точку зрения О. А. Проскурин доказывал с помощью двух аргументов: во-первых, данная эпиграмма обращена непосредственно к своему «герою» и предполагает, что А. С. Стурдза, в ту пору весьма близкий к пушкинскому кругу, находился во время ее написания не за тридевять земель, а в одном городе с Пушкиным, меж тем Стурдза вернулся в Петербург лишь в июле 1819 года. Второй, более весомый аргумент – найденный Проскуриным предполагаемый источник эпиграммы. Это – стихотворение «Загадка», напечатанное в журнале «Благонамеренный» (номер вышел в свет 30 июня 1819 года) и принадлежащее перу В. И. Козлова, поэта, который вызывал несомненный – хотя и не вполне сочувственный – интерес Пушкина и многократно упомянут в качестве «антигероя» в его письмах к брату Льву. «Загадка» схожа с пушкинской эпиграммой как тематикой (в обоих текстах, хотя и с противоположной оценкой, речь идет об убийстве студентом Карлом Зандом литератора и русского шпиона Августа фон Коцебу), так и ритмическим строением и даже рифмами (у Козлова «...увенчан лаврами Марата, / Забрызган кровью Коцебу»).

Лев Осповат в докладе «*Петроний и Моцарт в „Каменном госте“*»²⁶ показал, какое большое и важное место занимают в структуре пушкинской «маленькой трагедии» сюжетные реминисценции из новеллы о матроне Эфесской, входящей в сохранившиеся фрагменты романа Петрония «Сатирикон» (свидание у могилы мужа со вдовой, а не с дочерью убитого, как в классическом сюжете о Дон Жуане; любовные ласки у могилы). Шла в докладе речь и о системе «двойников» в «Каменном госте» (двойником Дон Гуана оказывается Лаура с ее гедонистической философией; двойником Командора – суровый проповедник морали Дон Карлос), и о том, каким образом трансформируется в финале пушкинской пьесы финал оперы Моцарта. Все сказанное сделало вполне оправданным и нимало не шокирующим высказанное докладчиком в финале желание назвать одну из работ о Пушкине «Великий комбинатор».

²⁵ См.: [Проскурин 2000: 204–211]. О дискуссии, вызванной этими страницами книги Проскурина, см.: [Поселягин 2014].

²⁶ См.: [Осповат 1995].

Официальное название доклада *Андрея Немзера* звучало так: «*Карамзин и Пушкин в романе Ю. Н. Тынянова*»²⁷, однако докладчик начал свое выступление с признания, что более правильным было бы перефразировать это название: «Карамзин как Пушкин в романе Тынянова». В самом деле, Немзер очень убедительно показал, что фигура Карамзина в романе Тынянова («семьянин и царедворец», историк, живущий в непосредственной близости от двора с молодой женой) является «теневым портретом» зрелого Пушкина и что, таким образом, роман «Пушкин» можно считать законченным текстом, ибо формально не описанные в нем периоды жизни поэта включаются туда в свернутом, «теновом» виде. Так, вместе с исконно тыняновской темой «потаенной любви» Пушкина к Екатерине Андреевне Карамзиной в роман входят «Каменный гость» и восьмая глава «Евгения Онегина», а метафорическая «смерть» у ног Екатерины Андреевны, обозначающая новое рождение для стихов, опять-таки завершает роман: вместо жизни наступает творчество, следовательно, о жизни говорить и писать уже не приходится. Чрезвычайно интересны были и отмеченные докладчиком связи тыняновского романа с литературным контекстом эпохи Тынянова, в частности с Маяковским и его гибелью, что позволило Немзеру ввести еще одну важную параллель; в романе Тынянова действует не только «Карамзин как Пушкин», но и «Пушкин как Маяковский».

Доклад *Кирилла Рогова* носил название «*Декабристы-немцы*»²⁸; тему эту, позволяющую ожидать занудного фактографического повествования о ряде (достаточно длинном) декабристов немецкого происхождения, К. Ю. Рогов раскрыл сугубо концептуально. Начав с упоминания изданной анонимно в 1844 году брошюры Ф. Ф. Вигеля «Россия, завоеванная немцами», где была нарисована кошмарная картина более чем векового немецкого засилья в Российской империи, докладчик показал, как сильны были антинемецкие настроения в русском обществе первой половины XIX века, как использовались декабристами для агитации антинемецкие лозунги и как возникла и укрепилась в декабристском движении парадоксальная – но лишь на первый взгляд – фигура немца-русософила (Кюхельбекер, Пестель), который отстаивал идею революционной нации как явления многонационального, дорожил принадлежностью к большинству нации и прославлял «могущественный юный народ», призванный оплодотворить другие народы (слова лифляндца Т.-Э. Бока, по своей воле оставившего службу в Главном штабе по причине главенства там немецкого языка).

Чрезвычайно актуально прозвучала затронутая Роговым тема обвинений «по национальной линии», которыми обмениваются (разумеется, с абсолютной зеркальностью) два противоположных лагеря: если декабристы, как уже было сказано, отстаивали исконно русские начала в противовес немецким (ср. агитационную песню Рылеева и Бестужева «Царь наш – немец русский...»), то правительственные круги, напротив, видели источник декабристского движения в пагубном немецком влиянии (иллюминаты, масоны, «Тугендбунд» и проч.); характерна точка зрения Николая I, согласно которой славянофилы близки декабристам, потому что и те и другие утверждают, что в России власти, включая самого императора, суть немцы и что такое положение нестерпимо.

Очень любопытным и познавательным был доклад *Ларисы Захаровой* «*Письмо-завещание Николая I сыну, „любезному Саше“, 1835 года*»²⁹. Само по себе это письмо, которое Николай вручил наследнику 30 июня 1835 года, перед отъездом в Польшу, в Калиш, на военный смотр и встречу с тестем – прусским императором, известно с начала 1920-х годов, когда оно было напечатано в «Красном архиве». Однако Захаровой удалось обнаружить дневник Александра Николаевича 1830-х годов и больше двух десятков его писем к отцу, относящихся к этому периоду. Найденные документы помогают восстановить любопытнейшие подробности

²⁷ См.: [Немзер 1995].

²⁸ См.: [Рогов 1997а].

²⁹ См.: [Захарова 1996].

тогдашних семейных и государственных забот царского семейства. Перед отъездом императора в Польшу усиленно распространялись слухи о возможном покушении на его жизнь со стороны мятежных поляков. Именно поэтому император не взял в поездку цесаревича, именно поэтому написал и отдал ему письмо-завещание с надписью на конверте «вскрыть после моей смерти» Поездка закончилась благополучно, 30 октября Николай I прибыл в Петербург и в тот же день затребовал письмо назад, однако уже на следующий день снова вручил его сыну, решив распечатать и даже, при желании, предать огласке. В письме этом, которое цесаревич тотчас подробно переписал в дневник, особенно впечатляет нескрываемый страх перед возможным повторением при смене императора событий 14 декабря; Николай учит сына, как вести себя в этом случае («явись на коне на место мятежа»). Что же касается дневника Александра Николаевича, то там, по-видимому, самое захватывающее место – сообщение о том, как в 1832 году отец рассказал ему об убийстве Павла I (память которого весьма почитал). Как справедливо заметил устроитель и председатель Эйдельмановских чтений *Андрей Тартаковский*, можно себе вообразить восторг и любопытство, которое вызвала бы эта сцена – Николай I, рассказывающий будущему Александру II об убийстве Павла I! – у Натана Яковлевича. Кстати, о Павле: осмелюсь заметить, что не только мне, но и большей части аудитории было чрезвычайно жаль, что Тартаковский, движимый вообще похвальной, но в данном случае весьма прискорбной деликатностью, в последний момент исключил из программы свой собственный доклад «Александр I и павловские ассоциации 1812 года», дабы не утомлять публику; публика уполномочила меня засвидетельствовать печатно, что по такому поводу она бы легко преодолела любую усталость.

Два докладчика вышли за хронологические рамки первой половины XIX века. *Александр И. Володин* охарактеризовал круг идей американского экономиста и социолога Г.-Ч. Кэри (1793–1879), сочувственного исследователя российского местного самоуправления, ученого, чьи книги вызывали, с одной стороны, пылкую брань Маркса и Энгельса, и с другой – постоянный интерес Герцена (предметом расхождения Герцена и Кэри служило, однако, отношение к личной свободе, которую американский ученый связывал с единоличным владением землей, а русский – с общинным владением).

Вера Проскурина рассказала о рукописном журнале 1915 года «*Бульвар и переулок*», в создании которого принимали участие Бердяев, Вяч. Иванов, М. Гершензон и содержание которого до сих пор было известно только по мемуарной литературе³⁰. Пародийно-юмористический отсвет, который бросают материалы журнала на «высокую» литературную и философскую продукцию этого круга авторов, позволяет увидеть их фигуры в совершенно новом свете.

Помимо запланированных выступлений публику, как выяснилось, ожидало на Третьих Эйдельмановских чтениях несколько сюрпризов.

Первый сюрприз был чрезвычайно симпатичен и любопытен. *Владимир Бараев* рассказал о том, как в 1966 году ездил с Эйдельманом и группой московских литераторов по Сибири и какие последствия это имело для нашей культуры: поскольку одним из главных свойств Натана Яковлевича была его способность служить неким «катализатором» идей и событий, то в результате его знакомства с В. В. Бараевым, в ту пору заместителем главного редактора журнала «Байкал», в этом журнале были напечатаны «опальная» повесть А. и Б. Стругацких «Улитка на склоне» и главы из книги А. Белинкова о Юрии Олеше, а сам Бараев занялся биографией М. Бестужева и написал о нем книгу, которую Эйдельман помог включить в список «пламенных революционеров», утверждавшийся ЦК КПСС и изначально не содержавший имени Михаила Бестужева как революционера недостаточно «пламенного».

Другого свойства были остальные сюрпризы. Один носил совершенно абсурдный и непреднамеренно «хеппенинговый» характер: во время одного из выступлений некая жен-

³⁰ См.: [Проскурина 1994].

щина, явно нуждающаяся в услугах врача-психиатра, перебив докладчика, пылко и достаточно визгливо принялась разоблачать КГБ и мафию, которые, не то воплотившись в докладчика и избрав его своим слепым орудием, не то, напротив, присоединив его к бесконечному ряду жертв, посредством невидимых флюидов на расстоянии травят, грабят и насилуют говорящую, ее родных и вообще всех на свете. Сей печально-анекдотический аккорд напомнил, по остроумному замечанию *Кирилла Рогова*, отрывок авангардного кинофильма, где реальности нормальная и бредовая постоянно меняются местами, выползая одна из-под другой.

В самом же конце чтений место докладчика занял не представившийся публике и не объявленный в программе бородатый юноша. В достаточно авторитарном и уж, во всяком случае, явно не предусматривающем возражений тоне юноша поставил нас перед необходимостью прослушать его поэму «Петростройка», отражающую, по его убеждению, многие важные особенности *нашего* (с ним) мышления. Публика поэму прослушала, но, кажется, осталась при подозрении, что наше мышление она отражает в той же степени, что и монолог неуравновешенной дамы (в конце концов, ее шизофрения – тоже принадлежность нашего времени). Впрочем, поэма показывает, что автор вполне владеет навыками версификации и что заветам Пушкина («ко мне забредшего соседа душу трагедией в углу») нынешние стихотворцы верны.

Так закончились Третьи Эйдельмановские чтения, что же касается моего отчета, то я закончу его ставшим, кажется, уже столь же традиционным, что и сами Чтения, пожеланием – чтобы через год мы вернулись в живописный подвал журнала «Знание – сила» на Четвертые Эйдельмановские чтения³¹.

³¹ Это в самом деле произошло, но поскольку сама я по уважительной причине на Четвертых чтениях отсутствовала, отчет о них написала Е. Э. Лямина (НЛО. 1994. № 9. С. 349–351).

Пятые Эйдельмановские чтения (18 апреля 1995 года)³²

Прошло пять лет после смерти Н. Я. Эйдельмана, и в день его рождения, 18 апреля, в редакции журнала «Знание – сила» под председательством А. Г. Тартаковского снова состоялись Эйдельмановские чтения – пятые по счету. То, что в 1991 году казалось экстраординарной акцией, вызванной безвременной утратой, постепенно превратилось в некий привычный, «календарный» элемент научного быта. С этим связано, по-видимому, и уменьшение в программе докладов мемуарного характера; в этом году больше говорили не о самом Н. Я., но о том, что входило в круг его интересов и о чем он почти наверняка полюбопытствовал бы услышать. Это, мне кажется, симптом очень обнадеживающий, в котором можно увидеть залог долгой жизни Эйдельмановских чтений: жить только воспоминаниями невозможно, научные же сюжеты останутся, и люди, ими интересующиеся, надо надеяться, не переведутся.

Хотя мемуарная линия и была редуцирована, прозвучавшее первым выступление *Александра Формозова «О книге Н. Я. Эйдельмана „Ищу предка“»* было по преимуществу именно мемуарным и изобиловало прелестными и вполне эйдельмановскими штрихами ушедшего быта, вроде, например, такого – Н. Я. и докладчик сообщают друг другу по телефону о появлении новой самиздатовской книги кодовой фразой: «Есть пушкинские материалы». К юмору Эйдельмана Формозов возвращался не раз. Фраза из книги «Ищу предка»: «Питекантроп был посмертно реабилитирован» – шокировала изысканно остроумного антрополога Я. Я. Рогинского, сосватанного Формозовым в консультанты Н. Я., но очевидно, что для Эйдельмана такое совмещение временных пластов было совершенно органичным – равно как и несколько шокировавшее самого Формозова включение в книгу о происхождении человека (миллионы лет до нашей эры) рассказа о вполне современной поездке в Узбекистан для знакомства с куда менее древними наскальными рисунками.

Выступление Формозова вызвало две реплики: одну – мемуарно-шутливую (*Лев Основат* напомнил эпизод, связанный с другой ранней книгой Эйдельмана – «Путешествие в страну древних летописей», которую два друга поначалу подрядились сочинять вместе, «не допуская, – как гласил составленный договор, – к работе женщин Эйдельмана и детей Основата»), другую – вполне серьезную; впрочем, это была даже не реплика, а вопрос. Стоит ли включать книгу «Ищу предка» в сколько-нибудь полное собрание сочинений Эйдельмана, спросил *Андрей Тартаковский*, и получил честный ответ: нет (во всяком случае, в полном виде); заслуживают переиздания отдельные главы (портреты ученых), текст же в целом нуждается в обстоятельном научном комментарии и дополнениях (антропология успела уйти вперед).

Проблемам издания эйдельмановского наследия был специально посвящен доклад *Сарры Житомирской «Наследие рассказчика: трудности текстологии произведений Эйдельмана»*. Писатель-рассказчик в понимании Житомирской – это тот, кто испытывает потребность многократно рассказывать об одних и тех же эпизодах, и всякий раз по-разному, так что каждый последующий вариант оказывается в чем-то богаче, но в чем-то и беднее предыдущего, и каноническое понятие последней авторской воли размывается. Житомирская привела в пример двух мемуаристов такого типа, с рукописями которых ей приходилось работать: это В. Д. Бонч-Бруевич, на чьих рассказах отражались тончайшие перемены политической конъюнктуры, и А. О. Смирнова-Россет, отбрасывавшая уже написанный вариант воспоминаний и принимавшаяся вспоминать то же самое сызнова под влиянием болезни. Хотя мотивы, двигавшие Эйдельманом, были совершенно иными, с его текстами происходило нечто подобное;

³² Впервые: НЛО. 1995. № 14.

один из нескольких примеров, приведенных докладчицей, – очерк «Что и где Липранди?», который появился впервые в 9-м выпуске сборника «Пути в неземное» (1972), затем в измененном и сокращенном, но, с другой стороны, существенно дополненном виде вошел в книгу «Пушкин и декабристы», а затем, в сборнике «Обреченный отряд» (1987), вновь принял первоначальный вид. Еще сложнее история статьи 1982 года об эпитафии Тынянова, почерпнутом из письма Грибоедова; от него тянутся нити и к последней сданной в набор при жизни Эйдельмана книге «Быть может, за хребтом Кавказа...», и к статье в «Дружбе народов» (1987) «Мы молоды и верим в рай», и к отрывку из нее, напечатанному в «Науке и жизни» (но и отрывок отличается от статьи в целом!), и к главе из «Обреченного отряда» – и всякий раз основная «тема» претерпевает некоторые изменения, становясь одновременно и богаче, и беднее. А ведь существовали еще и устные интерпретации сюжетов, разработанных в книгах и статьях: Н. Я., как известно, очень много выступал в самых разных аудиториях, от выступлений остались пленки, причем есть выступления на одну и ту же тему, не сходные ни друг с другом, ни с соответствующими текстами. Вывод: к переизданию Эйдельмана мы еще не готовы, подхода к его текстологии еще не нашли и ограничиваемся механическим воспроизведением.

Этот вывод энергично оспорил *Андрей Тартаковский*, представлявший в данном случае не только теорию, но и практику (он составил сборник «Из потаенной истории России XVIII–XIX веков», вышедший в издательстве «Мысль» в 1993 году, его стараниями в том же издательстве уже подготовлена верстка книги, включающей «Вьеварум» и «Лунина», а «Высшая школа» собирается издавать сборник пушкиноведческих работ Эйдельмана³³). Не стоит делать из проблемы фетиш, сказал он, книги надо воспроизводить отдельно, а статьи – отдельно, ибо и они тоже имеют право на самостоятельное существование. Собственно, проблема здесь куда более общая, чем сугубо текстологическая или, тем более, «эйдельмановедческая». Перед людьми, готовящими к печати самые разные сочинения, встает выбор: что лучше – издать быстро, но с недоработками, или безупречно, но сильно погодя? Этот последний случай подразумевался в пессимистической реплике: «А с текстологией мы его (Эйдельмана) никогда не издадим!» – поданной *Морганом Рахматуллиным*, к чьему докладу мы и переходим.

Доклад этот, при внешней скромности подачи (ни глобально-теоретических зачинов, ни эффектных обобщений), содержал до сих пор не введенный в научный обиход чрезвычайно любопытный фактический материал³⁴. В 1926 году С. Н. Чернов напечатал «Записку о состоянии и домашних обстоятельствах ближайших родных государственных преступников, по приговорам Верховного уголовного суда осужденных». Эта публикация (на которую с тех пор опирались все исследователи декабристского движения) была сделана по копии, Рахматулин же разыскал в Военно-историческом архиве оригинал, снабженный пометами Николая I; дело в том, что составлена была эта записка для того, чтобы император мог определить, чьи семьи принадлежат к числу наиболее нуждающихся, и пометы как раз и содержат указания – кому и какое вспомоществование назначить. Выясняется, что из причисленных к «имеющим нужду» или «живущим бедно» почти всем была назначена помощь либо денежная (единовременная, затем во многих случаях ставшая ежегодной), либо иного рода (определение детей на казенный кошт в те или иные учебные заведения). Не до конца проясненным остался вопрос о мотивах императорской щедрости: просто милосердие, отказ отождествлять безвинных родственников с самими декабристами или желание убедить себя, что масса подданных – на его, царя, стороне. Как бы там ни было, очевидно одно: Николаем двигал не, выражаясь современным языком, популизм (принятые меры оставались почти полностью секретными). На вопрос же *Сарры Житомирской*, не прослеживается ли соответствие между поведением декабристов на

³³ Книга «Вьеварум. Лунина» в самом деле вышла в 1995 году в издательстве «Мысль», что же касается сборника пушкиноведческих работ Эйдельмана, то он под названием «Статьи о Пушкине» вышел в свет в издательстве «Новое литературное обозрение» в 2000 году.

³⁴ См.: [Рахматуллин 1995].

следствии и объемом царских щедрот (покладистым – дал, строптивых – обделил), докладчик отвечал, что нет, не прослеживается: были обделенные, но отнюдь не по причине их «дурных» ответов на допросах.

О Николае I речь шла и в докладе *Ларисы Захаровой*, посвященном путешествию цесаревича Александра Николаевича по России (1837), как оно отразилось в неопубликованных документах – инструкции, которую вручил сыну император перед отъездом, общей инструкции для всех участников путешествия, врученной князю Ливену, письмах, которые наследник слал с дороги отцу, и ответах императора³⁵. За невозможностью перечислить все подробности царских наставлений и великокняжеских впечатлений назовем лишь самые выразительные: в посещаемых городах наследнику было разрешено танцевать только польский танец с пожилыми дамами и две или три французские кадрили; приезд Александра Николаевича вызвал особенный восторг в Тобольске, поскольку до этого никто из русских царей там не был; наследник, в 1856 году даровавший амнистию декабристам, еще в 1837 году просил отца о смягчении их участи. Оба выступления, касавшиеся Николая I, удачно напомнили о том, что император этот был безусловно многообразнее и интереснее всех односторонних и хрестоматийных представлений о нем.

Два доклада были посвящены временам более удаленным, чем привычные для аудиторией Эйдельмановских чтений XVIII и XIX века. *Игорь Данилевский* говорил о нравственности летописца³⁶; отвергнув две противоположные трактовки – пушкинскую (летописец-Пимен, бесстрашный и безмятежный) и шахматовскую (летописец-политикан, руководствующийся сугубо мирскими интересами), докладчик выдвинул собственную интерпретацию: летописцы были прежде всего христианами и писали свои хроники не для князей и не для потомства, но для Страшного суда (одно из возможных прочтений словосочетания «временные лета»).

Андрей Юрганов начал свой доклад «*Правда и вера Ивашки Пересветова*»³⁷ фразой: «Ивану Пересветову не повезло» – и тотчас разъяснил, в чем именно: мало того, что иные исследователи (начиная с Карамзина) сомневались в существовании Пересветова или по крайней мере в его авторстве, вдобавок никто не смог понять, в чем истинный смысл писаний этого автора, ставящего в пример русскому монарху турецкого султана – истребителя христиан. Ключом к уяснению этого смысла Юрганов назвал трактовку Пересветовым и вообще авторами XVI века понятия «правда» как понятия «утробного», тождественного гармоническому мироустройству, богоустановленности. Такая «правда» для Пересветова важнее веры, хотя соединение их («если бы к правде турецкой да веру христианскую...») представляется ему идеальным. В «Сказании о Магмет-салтане» Пересветов изображает богоугодным турецкого султана – потому что тот, захватив Константинополь, действует согласно воле Христовой – устанавливает в государстве «правду» (справедливый порядок), тогда как христианский император Константин этого не делал (потому-то, за его грехи, Бог от него и отвернулся). Богоугодность, утверждает Пересветов, определяется не по вере, а по близости к правде, которую Бог любит сильнее всего. Назвав построения Пересветова архетипом русской утопической мысли, Юрганов специально остановился на отличиях этой утопии от канонической западной утопии, придуманной Т. Мором; если Мор печется прежде всего о совершенном обществе, Пересветов интересуют в первую очередь совершенное государство.

Георгий Кнабе в докладе «*И. С. Тургенев и русская античность 1840-х годов*»³⁸ представил повесть «Вешние воды» как свидетельство истончения, ухода из европейской жизни той самой античности, которая до этого была и для европейцев, и для русских живой реальностью,

³⁵ См.: [Захарова 1999].

³⁶ См.: [Данилевский 1995].

³⁷ См.: [Юрганов 1996].

³⁸ См.: [Кнабе 1999: 177–182].

формой, пригодной для адекватного описания событий самоновейших. Анализ текста «Вешних вод» и соотношения в них антично-римского и русского пластов предшествовал большой монолог докладчика, из которого можно было понять, что он разочаровался в традиционных методах анализа текста и в способности науки узнать, что думали князь Трубецкой и поручик Панов 14 декабря 1825 года, когда бежали по петербургской набережной. Помыслы двух этих страдальцев до такой степени заинтриговали докладчика, что он постоянно с грустью констатировал их закрытость для позднейших поколений. Нимало не претендуя на решение этого вопроса в том, что касается Трубецкого, могу высказать предположение касательно мыслей, одолевавших 18 апреля Панова (не поручика, а Сергея Игоревича): безусловно он думал о том, как жаль, что внезапный недуг помешал ему принять участие в Пятых эйдельмановских чтениях и прочесть объявленный в программе доклад.

Выступление *Александра Каменского* снова вернуло аудиторию в конец XVIII века. Каменского интересовало присутствие «екатерининского» субстрата в реформах, задуманных и/или осуществленных Александром I в начале его царствования³⁹. Ключевым понятием для этого доклада стало понятие преемственности – преемственности в реформах (между деяниями Александра и его бабки Каменский усматривает больше сходств, чем различий) и преемственности в их изучении: с точки зрения докладчика, один из главных недостатков нашей исторической науки – в ее фрагментарности, в том, что каждый исследователь изучает свой конкретный период, общая же история реформ в России до сих пор не написана (тезис, который попытались оспорить некоторые из слушателей).

Александрю – а точнее, псевдо-Александрю – был посвящен и доклад *Александра Архангельского «Самозванство без самозванца (Еще раз о старце Федоре Кузмиче)»*⁴⁰. Докладчик начал с изящного сравнения людей, ищущих разгадку этой загадки, с «тайными ферматистами», то есть математиками, в глубине души не теряющими надежду доказать заведомо недоказуемую теорему Ферма. Впрочем, к таким тайным ферматистам от истории принадлежал Эйдельман, который, как точно заметил Архангельский, хотя и не мог до конца поверить в то, что сибирский старец в самом деле был Александром, но все-таки очень этого хотел. Напротив, докладчик решительно отверг возможность тождества между старцем Федором Кузмичом и императором Александром Павловичем, основываясь прежде всего на аргументах, почерпнутых, можно сказать, из исторической психологии. Легенда, сказал он, ведет свое начало от Л. Н. Толстого, не видевшего разницы между русским царем и русским писателем: русский писатель мог мечтать об «уходе» и даже в конце концов его осуществить, но русский царь, божий помазанник, *не мог* позволить себе бросить на произвол судьбы страну и покинуть престол тайком, украдкой (иное дело – неосуществленные планы Александра провести в России политические реформы, превратить ее в конституционную монархию и уже потом передать бразды правления своему преемнику, планы, о которых напомнил аудитории *Андрей Тартаковский*). Старец Федор Кузмич не был императором, но старцем он был не самозванным, а самым настоящим, появление же его в 1836 году именно в том районе Сибири, где в тот период упорно ожидали явления некоей особы царской крови (например, «воскресшего» Константина Павловича), было, возможно, обусловлено его стремлением «пострадать»; возможно также, что именно поэтому он столь уклончиво отвечал на прямые вопросы о своем происхождении.

Доклад *Наталии Мазур* назывался «*К истории взаимоотношений А. С. Пушкина и круга „Московского вестника“*»⁴¹. Назвав вначале «робкой» свою главную идею (о том, что в знаменитой пушкинской «Осени» отчетливо различима полемика с хомяковской «Зимой», кото-

³⁹ См.: [Каменский 1999].

⁴⁰ См.: [Архангельский 1995; Архангельский 2012: 362–409].

⁴¹ См.: [Мазур 1995–1996].

рая в свою очередь была полемическим ответом на «Зиму» Пушкина), докладчица затем безо всякой робости, а, напротив, чрезвычайно уверенно развернула перед аудиторией, с одной стороны, предысторию отношения московских Любомудров к Пушкину (от надежд сделать Пушкина своим «знамением», усмотреть в нем русского Гёте и выражение духа нации – до разочарования в его жизненной и литературной позиции: плодами наук пренебрегает; в жизни ориентируется не столько на Гёте, сколько на Байрона; застенчивых и стыдливых архивных юношей нарочно шокирует своим сенсуализмом), а с другой стороны, предысторию отношения Пушкина к московским Любомудрам (которое также начиналось с надежд, но очень скоро стало вполне адекватно описываться басенной реминисценцией из письма к Дельвигу: «Московский вестник сидит в яме и спрашивает: веревка вещь какая?»). В результате стало ясно, что означает внешнее сходство многих оборотов и образов в пушкинской «Осени» и хомяковской «Зиме» и какое противостояние угадывается за ними.

Автор этих строк представила доклад (написанный совместно с Александром Осповатом) о неизданной книге дипломата, мыслителя, литератора князя П. Б. Козловского «Социальная диорама Парижа» (1824–1825)⁴². В книге этой Козловский, по определению г-жи де Сталь, «истинный европеец», «русский, упитанный европейской цивилизацией», предстает космополитом в высшем смысле, который чувствует себя вправе высказывать неприятные истины не только своему, но и чужому народу. Портрет французской нации – рассудочной, бесконечно тщеславной, почитающей женщин только на словах, но никак не на деле – написан не галлофобом, но человеком, который принимает французские проблемы так же близко к сердцу, как и проблемы своей родной страны. Козловский всерьез рассчитывал напечатать свою «Диораму» и уже отдал рукопись парижскому издателю, но затем забрал назад – после того, как осведомленный французский знакомец разъяснил ему, насколько этот текст противоречит французским «библиографическим нравам».

Кончились чтения произнесенным «без объявления» докладом *Владимира Махнача*, из которого выяснилось, что все мы поголовно употребляем слова «тирания» и «тиран», «деспот» и «деспотия» неточно и совершенно не так, как завещал Аристотель⁴³. Делая по ходу любопытные лексикографические экскурсы (в «Краткой советской энциклопедии» 1943 года нет ни слова «тирания», ни слова «диктатура» – одна лишь диктатура пролетариата), докладчик напомнил, что, по Аристотелю, существуют лишь три формы правления: монархическая, аристократическая и демократическая – и три отклонения от них (когда правление осуществляется не в интересах всего общества, а в интересах его части): тирания, олигархия и охлократия. Если взглянуть на советскую историю с этой точки зрения, то окажется, во-первых, что с 1917 года мы никогда не жили при «полноценной» форме правления, а всегда – при «отклонениях», во-вторых, что в 1920-е годы у нас происходила борьба революционной олигархии с революционной охлократией, в-третьих, что Сталин был тираном, но не диктатором, так как диктатура есть экстраординарная власть, отнюдь не тождественная тирании, а вот Пиночет был типичным экстраординарным диктатором – и еще множество интереснейших вещей. Очевидно, что докладчик принадлежит к числу тех счастливых, которые верят, что если назвать все вещи изначальными, «правильными» именами, то все установится и придет в порядок не в одной лишь словесности, но также и в жизни. Такой вере можно только позавидовать.

Конечно, значения терминов очень важны, но гораздо важнее стоящая за ними историческая реальность, подробности которой нам зачастую внятны далеко не достаточно. Главная ценность Эйдельмановских чтений, пожалуй, состоит именно в том, что их участники в меру сил, не спеша, без широковещательных выводов и броских концепций продолжают то погружение в глубину истории, мастером которого был Эйдельман. И единственное, чего можно поже-

⁴² См.: [Козловский 1997].

⁴³ См.: [Махнач 2005].

лать (помимо, разумеется, того, чтобы чтения происходили ежегодно, без всяких сбоев), – это чтобы обсуждение докладов приблизилось по интенсивности и насыщенности к самим докладам, чтобы «интермедии» сделались так же интересны, как и сама «пьеса».

Шестые Эйдельмановские чтения (18 апреля 1996 года)⁴⁴

Шестые Эйдельмановские чтения состоялись по традиции 18 апреля 1996 года, в день рождения Н. Я. Эйдельмана, в редакции журнала «Знание – сила». Открыл чтения их бессменный председатель *Андрей Тартаковский*, совершенно справедливо заметивший, что за шесть лет их существования чтения эти стали необходимой принадлежностью нашей научной жизни, так что, если бы они вдруг прекратились, и участники, и аудитория (и то и другое у чтений более или менее постоянное) почувствовали бы себя обделенными.

Первым прозвучал доклад *Игоря Андреева* «Самозванство на Руси»⁴⁵. Докладчик выказал изрядное знакомство с новейшей исторической, социологической, культурологической терминологией (выражения «сакральность», «стереотипы поведения и мышления», «сознание простецов» и проч. звучали в докладе постоянно) и поставленный на научную ногу патриотизм: самозванство, утверждал он, уникальное русское явление, в европейской истории ничего подобного не было, да и «уровень сакральности» там, оказывается, был ниже, чем в России.

Декларированной целью доклада было описать черты средневекового сознания (сознания простецов), которые способствовали возникновению самозванчества. Таковых было названо три: 1) восприятие нового как узнавание старого, то есть поиски в любом новом явлении того, что роднит его со старым; 2) уже упоминавшаяся сакральность власти, сочетающаяся с рецидивами язычества («народное православие»): народ наделяет самозванца и царя сверхъестественными свойствами, в том числе и колдовскими; 3) символизм как стиль мышления простецов (поиски на теле «царей» свидетельств их богоизбранности – «царских знаков»). Все это, по мнению докладчика, обуславливало предрасположенность народного сознания к самозванческой идее: если царская власть сакральна, то противиться царю или тому, кто объявляет себя царем, греховно. Элементами, на которых работала «модель» самозванчества, были названы внушение и подражание, а свойствами, какие народное мышление приписывает царю, – законность, богоданность и справедливость его власти (царь как источник и слуга права).

При внешней связности концепции в ней обнаружили многочисленные внутренние нестыковки, на которые и обратили внимание выступавшие в прениях. Так, *Андрей Немзер* попытался ответить на те естественно напрашивающиеся вопросы, которые оставил без ответа докладчик, прежде всего на вопрос об отличиях русской ситуации от западноевропейской. Ни в средневековой Франции, где король выступал по отношению к другим феодалам как первый среди равных, ни в средневековой Руси у самозванчества не имелось причин для возникновения: тверскому князю незачем было выдавать себя за князя московского. Затем одна династия, укрепившаяся на престоле, начала страховать себя от переворотов и сильно в этом преуспела; в ответ при первом же династическом кризисе появились самозванцы. Немзер остановился и на не проясненном докладчиком вопросе о «точке зрения» самих самозванцев; в докладе они подчас – быть может, помимо воли говорившего – предстали некими авантюристами, прекрасно сознающими свое «узурпаторство» по отношению к «настоящим царям» и сознательно эксплуатирующими особенности народного мировосприятия; Немзер подчеркнул, что самозванцы были *настоящими* царями не только для народа, но и для самих себя, что они ощущали себя не жуликами, не подставными лицами, а подлинными государями; в противном случае мы бы имели дело с эпизодами плутовского романа, а не с историей русского самозванчества. Об отличии русской ситуации от европейской говорил в прениях и *Андрей Юрганов*: по его мнению, в Европе царь обладал мирской властью, религиозная же власть была

⁴⁴ Впервые: НЛО. 1996. № 20.

⁴⁵ См.: [Андреев 1995].

у папы римского; напротив, на Руси царь был и государем, и святителем, он олицетворял волю Божию. Чрезвычайно важно и то, что русский царь был *прирожденным царем*, а самозванчество стало возможным, лишь когда произошел «сбой в системе» – прекратилось существование семейства, которое в течение нескольких веков правило страной.

По мнению Юрганова, русские люди были готовы увидеть на русском престоле даже датского принца, лишь бы то был *прирожденный государь*, Годунов же казался им «работарем», ибо изначально не принадлежал к царской фамилии. Именно идеал *прирожденного государя*, главенствовавший в сознании народа, и провоцировал появление самозванцев. Впрочем, аудитории эти рассуждения не показались вполне убедительными: ведь и Годунов, и Романов приходились родственниками Ивану Грозному; почему же один считался узурпатором и «работарем», а другому было доверено основание династии? Это можно объяснить влиянием тогдашней публицистики, но никак не «онтологическими» свойствами Романовых и Годуновых.

Доклад *Андрея Зорина* назывался «*Эпические поэмы С. А. Ширинского-Шихматова и шишиковская концепция национальной истории*»⁴⁶. Докладчик начал с описания того всплеска интереса к истории Смутного времени, который пришелся на 1806–1808 годы, когда были написаны и опубликованы такие произведения, как поэма Ширинского-Шихматова «Пожарский, Минин, Гермоген, или Спасенная Россия», трагедии С. Н. Глинки «Минин» и М. В. Крюковского «Пожарский, или Освобожденная Москва», когда были обнародованы гравюры и эскизы скульптора Мартоса к будущему знаменитому памятнику Минину и Пожарскому и открыта подписка на него.

Легко объяснимо, отчего обострение интереса к патриотической тематике и борьбе с захватчиками-поляками произошло после 1812 года («рифма» двух ситуаций – нашествия поляков на Россию в 1612 году и нашествия французов в 1812 году – нашла позднее отражение в заглавиях двух романов Загоскина: «Юрий Милославский, или Русские в 1812 году», «Рославлев, или Русские в 1612 году»), но докладчик говорил об эпохе более ранней. Своеобразие ситуации, подчеркнул Зорин, состоит в том, что в русской словесности этот официальный канон сложился раньше, чем в реальной истории: Наполеон еще не напал на Россию, еще не сгорела Москва, а отношения с французами уже осмыслились посредством уподобления их полякам 1612 года. Дело в том, что Польша уже в конце XVIII века воспринималась как агент французского влияния, «тройной конь» Франции в теле Российской империи, а борьба за независимость Польши – как французская интрига, проявление антирусской политики французского «секретного кабинета». Таким образом, в изящной словесности поляки репрезентировали французов, точно так же как татары – турок. Сила этих представлений была так велика, что князя Адама Чарторыйского «автоматически» считали агентом Наполеона только потому, что он поляк, а удаление его из Министерства иностранных дел трактовалось как победа над французско-польским влиянием. Действия поляков в 1612 году изображались как прообраз тотального антирусского заговора (по-видимому, первым произведением, где польская и французская тема слились воедино, стала ода Державина «На коварство французского возмущения», где, впрочем, изначально речь шла вообще не о поляках и не о французах, а о вполне современных недругах Державина при дворе). Авторы поэм и трагедий 1800-х годов были довольно хорошо осведомлены о событиях Смутного времени благодаря опубликованным к этому времени летописям, в которых, однако, отсутствует один эпизод, параллель к которому находится лишь в народной песне: после победы над поляками царство предлагают победителю Пожарскому, но он благородно уступает его Михаилу Романову. В поэме Ширинского-Шихматова этот эпизод изложен особенно подробно, причем гипотетическое согласие Пожарского занять трон трактуется как низвержение России обратно в ад, из которого тот же

⁴⁶ См.: [Зорин 2001: 159–186; глава «Народная война»].

Пожарский ее только что вывел. По мнению докладчика, повышенный драматизм этой коллизии можно объяснить только подразумевавшейся Ширинским и внятной его первым читателям параллелью с Наполеоном: он, подобно Пожарскому, избавил Францию от войн и распрей, спас от революционной анархии – но, в отличие от русского князя, не устранился, не отдал трон «законному владельцу», а воссел на престоле сам. Пожарский же, в отличие от Наполеона, не пошел на поводу у толпы, не стал прислушиваться к «гласу народа» (напоминание о французской революции), но продемонстрировал высочайшую из способностей – способность *отказаться* от короны. Пожарский предстает у Шихматова Моисеем, толкующим народу слово Божье; таким образом подчеркивается богоизбранность России, причем не как преемницы Греции (идея, популярная в царствование Екатерины II), но как самоценной державы (характерна в связи с этим чисто стилистическая работа Шихматова, изгонявшего из своих текстов реликты греческой мифологии, что приводило подчас к парадоксальной замене «фурий» на... «демонов»).

Валентин Берестов, учившийся вместе с Эйдельманом на истфаке МГУ, назвал свое выступление так: «*Чем каждый пушкинист похож на А. С. Пушкина? (Об одном замысле Н. Эйдельмана)*». Замысел этот, которым Н. Я. некогда поделился с Берестовым, заключался в том, чтобы написать книгу «Пушкинист» – о том, как каждый пушкинист творит Пушкина по своему «образу и подобию»: у В. Непомнящего, например, Пушкин – набожный православный христианин, а у исследователя более легкомысленного и Пушкин, пожалуй, смотрит веселее.

Берестов решил попробовать применить этот принцип к самому Н. Я. и, взяв для примера его вполне научную и строгую книгу «Пушкин и декабристы», показал, как во многих свойствах, привычках и предпочтениях Пушкина, описанного Эйдельманом, проступает сам Эйдельман – его верность старинному братству (школьным ли, университетским ли товарищам, вне зависимости от их позднейших убеждений и занятий), его остроумие, его нравственный выбор... Впрочем, докладчик, разумеется, не стал абсолютизировать это сходство и на дотошные вопросы из публики, клонившиеся к полному отождествлению Эйдельмана с Пушкиным, ответил четко: «Различия были, и существенные: например, Эйдельман стихов не писал».

Прелестны были мемуарные зарисовки самого докладчика, с которыми он по ходу дела знакомил аудиторию. Например, вспомнив о любимом Эйдельманом способе «летоисчисления» (сколько рукопожатий отделяет меня от Пушкина), Берестов сказал, что его самого, как выяснилось, отделяет совсем немного: он был хорошо знаком с Маршаком, а юного Маршака Стасов водил к сыну Пушкина, который, любясь окружающим городским пейзажем, сказал задумчиво – впрочем, походя лишив собственного родителя одного из лучших стихотворений: «Да, прекрасно писал Лермонтов: „Брожу ли я вдоль улиц шумных...“». А вот другая зарисовка, на тему об отказе от прямого диссидентства в пользу легального просветительства (проблема, живо волновавшая и Эйдельмана): Берестов советуется с Л. К. Чуковской, что ему делать – прямо бороться с режимом? но ведь тогда он не сможет читать детям стихи в домах отдыха, а это ведь так полезно... и Л. К. отвечает ему: «Конечно, читайте стихи!»

Название доклада *Кирилл Рогов – «Московский студент 1820-х годов»*⁴⁷ – не вполне отвечало содержанию, ибо речь в нем шла не вообще о студенте и не о студенческом быте, а о вполне конкретном студенте, а точнее, по современным понятиям, даже аспиранте – М. П. Погодине в пору, когда он уже окончил университет и работал над диссертацией. Однако аудитория, кроме одного не в меру придиричливого слушателя, вовсе не была в претензии за такую неточность и, забыв о названии, с огромным интересом прослушала богатый уникальным материалом и тонко выстроенный доклад. Главным источником Рогову послужил дневник Погодина, опубликованный лишь частично, меж тем как во многих случаях восстановление

⁴⁷ Некоторые положения доклада развиты в: [Рогов 1999а; Рогов 1997б].

полного текста записей позволяет иначе понять их содержание. Речь шла прежде всего о взаимоотношениях Погодина с Тютчевым; соответствующие записи из дневника Погодина опубликованы в тютчевском томе «Литературного наследия», однако купирование фрагментов, не связанных с Тютчевым напрямую, ведет, как показал Рогов, к значительным абберациям.

Так, перед записью о беседе с Тютчевым насчет Пушкина и оды «Вольность» у Погодина стоят слова о «семеновской истории», историю же эту он обсуждал с двумя знакомыми дамами и сделал из нее вывод, имеющий самое непосредственное отношение к его восприятию пушкинской оды: если бы я, пишет Погодин, был на месте царя, я бы нарушил закон, велящий покарать виновных солдат, и простил их, ибо они хотели блага. Чрезвычайно любопытны были рассуждения докладчика об эволюции Погодина от республиканского патриотизма к патриотизму национальному. Погодин мечтал о правильно устроенном мононациональном государстве, из которого изгоняются все иностранцы и в котором, напротив, объединяются все славяне (включая поляков), причем в обмен на прусскую часть Польши следует отдать немцам Курляндию, ибо эта «немчура» России не нужна (напротив, по плану Пестеля следовало учредить одну гражданскую нацию, все члены которой, вне зависимости от вероисповедания и происхождения, называли бы себя русскими). Еще одна тема, важная для мироощущения Погодина начала 1820-х годов, – его отношение к просвещению; с одной стороны, для Погодина, честолюбивого плебея, образование было единственным средством получить деньги и славу (он жил частными уроками, а учась в университете, даже списывать конспекты давал за деньги), с другой – влияние Шеллинга, усвоенного сквозь призму московского масонства, и Гёте и Шиллера, усвоенных сквозь призму книги г-жи де Сталь «О Германии», заставляло его отличать современное «неправильное» просвещение от истинного, высшего, тождественного духу благолюбия.

Наконец, докладчик много говорил о борьбе московской и петербургской линий в поэтической сфере: Погодин отстаивает авторитет своего учителя, москвича Мерзлякова, от петербуржцев, выдвигающих Гнедича, а затем выступает, опять же против петербуржцев, на стороне другого москвича, Раича, то есть всякий раз делает «маргинальный» выбор, расходящийся с «мейнстримом». В заключение докладчик остановился на предыстории погодинского альманаха «Урания»: сам Погодин рассчитывал дать ему название «Московская комета», которое (возможно, не без участия Тютчева) было после декабрьского восстания заменено на «Уранию», так как «Московская комета» слишком явно напоминала о бестужево-рылеевской «Полярной звезде». По ходу дела Рогов коснулся также многих других интереснейших пассажей из погодинского дневника (в частности, разговоров об убийстве Павла I), поэтому все присутствовавшие согласились с пожеланием *Андрея Тартаковского*, чтобы докладчик поскорее опубликовал эти записи отдельно, а затем и весь дневник за 1820-е годы, на что К. Ю., лучше других сознающий объем предстоящей работы, только пожал плечами.

Доклад *Веры Мильчиной* и *Александра Ошовата* был посвящен «Истории создания и восприятия брошюры П. А. Вяземского „Пожар Зимнего дворца“»⁴⁸. Дворец сгорел 17/29 декабря 1837 года; уже через неделю Вяземский написал на французском языке статью, посвященную этому событию, где перечислил все те вехи русской истории, что связаны с Зимним дворцом, и прославил мужество и энергию, проявленные императором Николаем как в прошлом, в день вступления на престол и подавления декабрьского «мятежа», так и в настоящем, при тушении пожара. Благодаря активному посредничеству А. И. Тургенева статья о пожаре уже в начале февраля 1838 года была напечатана в Париже, у издателя Дантю, отдельной брошюрой, затем перепечатана двумя легитимистскими парижскими газетами и имела в Париже бурный успех среди сторонников сближения России и Франции. Легитимисты ставили русского автора в пример французам: он и французским языком владеет блестяще, не искажая его разными неологизмами (комплиментов по поводу своего француз-

⁴⁸ См.: [Мильчина 2004б: 364–368].

ского языка Вяземский вообще получил много – в том числе от таких знаменитостей, как писатель Шатобриан или историк генерал Сегюр), и своего государя любит преданно – не то что легкомысленные французы, зараженные республиканизмом. Брошюра Вяземского нашла себе поклонников среди «благомыслящих» людей и в России; перевод ее был опубликован в «Московских ведомостях», а отрывки процитированы в верноподданнической брошюре А. Башуцкого о восстановлении Зимнего дворца. Однако, по свидетельству современника, в конечном счете «Пожар Зимнего дворца» оказал своему автору дурную услугу: либералы оскорбились его «ренегатством», а царедворцы злорадствовали по поводу этого «падения» бывшего вольнодумца, однако же все равно не считали «падшего ангела» за своего. Наконец, в 1843 году маркиз де Кюстин в своей «России в 1839 году» упомянул брошюру князя Вяземского о Зимнем дворце в самом неблагоприятном контексте; он назвал ее автора царедворцем и процитировал фрагмент брошюры ради того, чтобы доказать правдивость рассказов Карамзина о зверствах Ивана Грозного: царедворец Вяземский пишет, что царедворец Карамзин читал свою «Историю» в Зимнем дворце; значит, рассказанное в ней – правда. Пассажи об исторических преданиях, связанных с дворцом, представляли собой органическую часть взглядов Вяземского (в этой системе все прошлое оценивалось положительно), его похвалы царю (который на сей раз их вполне заслужил, что признал даже критичный Кюстин) были органической частью его представлений о том, что мыслящему дворянству следует вести диалог с монархической властью, направлять ее своими советами. Однако невозможность вести такой диалог с патриотических позиций, не заслужив при этом упреков в предательстве либеральных идеалов и в низкопоклонстве, относится, по-видимому, к числу констант русской политической жизни, и пример Вяземского – лишь один из многих в бесконечном ряду.

Доклад *Андрея Немзера* назывался «*Антиисторизм Лермонтова*»⁴⁹; докладчик привел разные примеры обращения поэта с историей, из которых самым показательным был анализ стихотворения «Умиравший гладиатор». Додумывая до конца антиномии, встающие перед романтическим сознанием, Лермонтов весьма своеобразно оценивает «рыцарских времен волшебные преданья» – то есть все то, что романтики клали в основу своих эстетических построений. Для него это – «насмешливых льстецов несбыточные сны», не более чем вымысел (пусть и «волшебный»). Лермонтов исходит из того, что прошлого как некоей реальности не существовало, что всякая ушедшая эпоха может «выжить» лишь благодаря поэту, за счет его творческих усилий. Прошлое в произведениях Лермонтова чаще всего идеализируется и героизируется (см. «Песню про... купца Калашникова»), но поэт четко сознает, что такое героическое прошлое – такой же плод его фантазии, как и картины идеального детства – этого прошлого в миниатюре, прошлого не общенационального, а частного.

Завершило чтения внеплановое выступление *Игоря Энгельгардта*, который прочел отрывки из воспоминаний своей матери Раисы Лерт «На том стою» (М., 1991): в конце 1940-х годов она работала вместе с отцом Н. Эйдельмана в Радиокomiteте и в процессе «борьбы с космополитизмом» была одновременно с ним оттуда изгнана. Сравнительно недавняя история уравнилась в правах с историей XIX века и сделалась возможным предметом рефлексии – ход вполне в духе Н. Я. Эйдельмана.

⁴⁹ См.: [Немзер 2004; Немзер 2014: 342–358].

Седьмые Эйдельмановские чтения (18 апреля 1997 года)⁵⁰

18 апреля 1997 года в седьмой раз прошли научные чтения памяти Н. Я. Эйдельмана. Программа чтений состояла из семи докладов, а открыло их выступление вдовы Натана Яковлевича *Юлии Эйдельман*, которая прочла собравшимся отрывки из дневников ученого⁵¹. Эйдельман впервые начал вести дневник во втором классе, но регулярно заносить записи в дневник стал в 1966 году – в этом году его дочь пошла в первый класс. Две темы – судьба дочери и судьба исторической науки – были для Эйдельмана наиболее важны, им в первую очередь посвящен дневник; они прозвучали одновременно и в самый последний день жизни Эйдельмана: когда выяснилось, что у него инфаркт и нужно срочно ложиться в больницу, он всерьез хотел отложить это «мероприятие» на день, потому что сначала непременно хотел исполнить два данных им обещания: выступить в школе, где преподает дочь, и прочесть доклад в Музее А. С. Пушкина. В дневнике есть блестящие афоризмы: «Уровень разложения общества измеряется не нижним, а верхним пределом чтения: не Михалковым, а Дружининим и Бонди»⁵²; есть яркие штрихи к истории советской цензуры: приводится список авторов и названий, которые Д. Д. Благой предлагал изъять из библиографии «Пушкин за 100 лет», в их число попали не только «подозрительные» Гофман и Оксман, но даже зарубежное издание «Путешествия в Арзрум».

Выступление Юлии Эйдельман прозвучало как своего рода биографический «эпиграф» к чтениям (к нему примыкало выступление бывшего главного редактора журнала «Байкал» В. В. Бараева, продолжившего свои воспоминания о поездке с Эйдельманом по Сибири, начатые на Третих чтениях).

Научную часть чтений открыло выступление *Игоря Данилевского* «Что такое Русская земля»⁵³. О значении христианской символики в жизни средневековой Руси говорил *Андрей Юрганов* в докладе «Опричный дворец Ивана Грозного»⁵⁴. В 1566 году по приказанию царя в Москве, на том месте, где сейчас располагается научная библиотека МГУ, был возведен Опричный дворец. Если рассматривать эту постройку с чисто светской стороны, возникает множество недоумений: зачем было строить еще один дворец напротив Кремля, к тому же не снабдив эту новую постройку фортификационной защитой (крышами и бойницами)? По мнению докладчика, понять замысел Ивана Грозного можно, если учесть, что в ту пору светская власть была таковой лишь по видимости; государственная деятельность Ивана объяснялась отнюдь не одними политическими соображениями, но и сильными религиозными чувствами, в частности ожиданием конца света, который, как считалось, должен был наступить в 7070 или 7077 году от сотворения мира, то есть в 1562 или 1569 (выбор именно этих дат объясняется тем, что в 1492, то есть в 7000 году от сотворения мира, кончалась церковная пасха – счет пасх, а семерка почиталась сакральным числом; поэтому, раз конец света не наступил в 7000 году, следовало ждать его в ближайшие годы, включающие цифру 7). Так вот, Иван Грозный загодя начал готовиться к наступлению этого дня, когда «вместо правды мира будет правда истинная». Именно для этой цели и выстроил он странный четырехугольный дворец, «источником» которого, как показал докладчик, была ветхозаветная Книга пророка Иезекииля (гл. 40 и след.: «Устройство нового Храма»). В точном соответствии с этой книгой у Опричного

⁵⁰ Впервые: Знание – сила. 1997. № 11.

⁵¹ Книжное издание дневников см. в: [Эйдельман 2003].

⁵² *PS 2019*: Имелся в виду, естественно, автор советского гимна, но Эйдельман смотрел далеко вперед, так что мысль его остается верной и применительно к следующим носителям этой фамилии.

⁵³ Доклад в отчете не пересказан, поскольку одноименная статья Данилевского опубликована в том же номере журнала «Знание – сила».

⁵⁴ См.: [Юрганов, Каравашкин 2003: 68–115].

дворца имелось всего три пары ворот (западные отсутствовали); однако если, согласно Иезекиилю, главные, восточные ворота предназначались для Господа (он должен был войти в них, а царь – в проделанную рядом калитку), то в Опричном дворце Иван сам входил в восточные ворота вместо Господа (не случайно немецкий дипломат Герберштейн, автор «Записок о московитских делах», назвал русского великого князя «ключником и постельничьим Божиим»). Библейские «подтексты» обнаруживаются и в конкретных деталях Опричного дворца: так, двуглавый черный орел, украшавший южные ворота, был изображен не с опущенными крыльями, как орел геральдический, но с крыльями распростертыми. «Прообразом» его выступал «орел летящий» из Откровения Иоанна Богослова (4: 7) – символ возмездия, которое падет на головы грешников во время Второго пришествия. Таким образом, цель, которую преследовал Иван при постройке Опричного дворца, была отнюдь не политическая и не фортификационная: царь реализовал во дворце свои эсхатологические представления; когда же Девлет-Гирей сжег дворец, царь усмотрел в этом знак Господнего осуждения опричнины и отменил ее.

Если в двух первых докладах отыскание религиозной основы мирских событий и явлений было произведено очень тонко и внятно, то с докладом *Арсена Гогешвили «Новые библейские параллели к „Слову о полку Игореве“»* дело обстояло сложнее. Главный тезис докладчика заключался в том, что язык и стиль «Слова о полку Игореве» состоят из трех слоев – античного, средневекового христианско-героического и библейского. Однако его аргументация не всем в аудитории показалась убедительной, и после доклада возникла дискуссия. Подробно познакомиться с концепцией Гогешвили читатели смогут, прочитав его статьи в номерах 1–4 журнала «Знание – сила» за 1997 год.

Во второй части чтений речь шла об авторах и проблемах XIX века. Открыла ее *Наталья Самовер*, выступившая с докладом «*Русские крестоносцы: Первый пехотный полк Московского ополчения в Отечественной войне 1812 года*»⁵⁵. На основании неопубликованных архивных данных докладчица восстановила историю создания этого полка, его участия в военных действиях (от первоначальной дислокации в Можайске до боев при Тарутине и Красном и пребывания в пограничном городе Борисове), а также обрисовала состав офицерского корпуса: 68 офицеров в возрасте от 72 до 15 лет, в прежней жизни преимущественно гражданских лиц. Наряду с практическими подробностями жизни и деятельности полка докладчицу интересовали психологический и историко-культурный аспекты самого феномена дворянского ополчения. Ополченцы, официально именовавшиеся ратниками, мыслили себя продолжателями дела крестоносцев, бойцами крестоносной рати. Войну они представляли себе как некое подобие парада; они мечтали героически отдать жизнь за отечество, реальность же войны оказалась совсем другой: ратников ждали многодневные переходы без воды и питья, дизентерия и такие «негероические» задания, как срочная доставка лаптей в ушедшую вперед гвардию или сожжение трупов в городе Борисове после ноябрьско-декабрьского наступления русской армии. Ратники сохранили свои хоругви и через год после основания полка, в августе 1813 года, принесли их обратно в Москву, однако с прежним идеальным представлением о войне им пришлось расстаться; не случайно ряды полка так сильно поредели: в Москву возвратились всего тридцать шесть унтер-офицеров и два офицера. В военных испытаниях, резюмировала докладчица, высокая культура ратникам не помогла.

Доклад автора этих строк назывался «*Николай Иванович Тургенев в 1830 году*». Разговор о декабристе Н. И. Тургеневе, как правило, предполагает рассмотрение его политических взглядов, однако в данном случае речь шла прежде всего о некоем – впрочем, несостоявшемся – событии в личной жизни Тургенева, которое, однако, имело непосредственное отношение к жизни общественно-политической. Тургенев был человек не слишком общительный, не очень светский, поэтому историки до последнего времени пребывали в абсолютной уверен-

⁵⁵ См.: [Самовер 1999].

ности, что кроме жены, француженки Клары Виарис, с которой он сочетался законным браком в Женеве осенью 1833 года, в жизни Николая Ивановича никаких женщин не было. Однако архивные разыскания помогают понять, что это не так.

В 1829–1830 годах Николай Иванович был весьма увлечен молодой англичанкой Гарриэт Лоуэлл, дочерью английского помещика, с которой, по всей вероятности, его познакомил князь Петр Борисович Козловский, также живший в этот период в Англии и питавший нежные чувства к сестре мисс Лоуэлл, Саре (жене итальянского графа Гвидобони-Висконти, а в будущем возлюбленной французского писателя Оноре де Бальзака). Тургенев всерьез хотел жениться на понравившейся ему английской барышне, однако ее отец, будучи истинным англичанином, традиционалистом и консерватором, вообще с подозрением относился к иностранцам и уж тем более опасался выдать дочь за человека, заочно приговоренного у себя на родине к смертной казни. Как выясняется, не только желанием оправдать себя в глазах императора и русского общества, но и стремлением обелить себя в глазах английской невесты объясняется тот факт, что именно в начале 1830 года Н. И. Тургенев вновь с удвоенной энергией начинает добиваться пересмотра своего дела и даже, поверив дошедшему до него через Жуковского «приглашению» императора, всерьез планирует отправиться в Россию на «пересуд». В мае 1830 года, однако, из письма того же Жуковского выяснилось, что Николай I безопасности Тургеневу не гарантирует и вообще «как человек, а не как император» приезжать ему в Петербург не советует. Дело Тургенева не было пересмотрено, не пересмотрел своего отношения к нему и потенциальный тесть. Женитьба не состоялась, Николай Иванович в результате переехал во Францию, туда к нему стал постоянно приезжать брат его Александр Иванович, автор замечательных «Хроник русского в Париже», которые мы, возможно, не имели бы удовольствия читать, если бы Николай Иванович женился на Гарриэт Лоуэлл и осел в Англии.

Доклад *Ольги Майоровой* носил название «*Митрополит Московский Филарет в общественном сознании конца XIX века*»⁵⁶. Филарет интересовал докладчицу не только как яркая и многосторонняя личность, как человек, оставивший след в самых разных областях религиозной культуры; деятельность Филарета была рассмотрена в докладе как явление, проливающее свет на генезис охранительной политики Победоносцева. Отзывы современников о Филарете крайне разноречивы: в творчестве Лескова он предстает то «чудесным помощником», то ничтожным чиновником; под пером Герцена превращается в символ самодержавного режима (государства, узурпировавшего функции церкви). Но для всех было очевидно огромное значение его фигуры; не случайно после его смерти в обществе задавались вопросом: «Кто у нас теперь будет Филаретом?» В ситуации, когда многие в России боялись «итальянской заразы» – идеи «свободной церкви в свободном государстве», Филарет выступал символом независимой церкви, которая так сильна, что может подчинить себе государство. Победоносцев признавал это очень ясно, не случайно в 1867 году, в бытность свою наставником наследника престола (будущего Александра III), он советовал своему воспитаннику непременно поехать в Москву на похороны Филарета (наследник хотел поехать, но отец-император не пустил): это означало бы соединиться, слиться с народом, шагнуть навстречу народу и церкви. После смерти Филарета в воспоминаниях очевидцев образ митрополита стал приобретать легендарные, агиографические черты, Филарет постепенно превратился в смелого, независимого носителя истины, дающего ответы на все вопросы. В этих легендах, как и прежде, при жизни, Филарет выступал невольным (или намеренным?) соперником монарха; так, митрополита Московского часто сравнивали с патриархом всея Руси, именовали его «природным патриархом других архиереев». А между тем патриаршество в России отменил еще Петр I и роль патриарха давным-давно принял на себя сам император.

⁵⁶ См.: [Майорова 1997].

Доклад *Сергея Панова* носил весьма расплывчатое название «*Вокруг А. С. Пушкина*», однако посвящен он был вещам совершенно конкретным и чрезвычайно интересным. Панов уже много лет разбирает бумаги, оставшиеся от четы пушкинистов Цявловских; именно некоторые любопытные записи из их дневника Панов и обнародовал в своем докладе. Но главное – изложил и откомментировал своего рода «пушкинистскую новеллу», которую упустили из виду Т. Г. Цявловская и Н. Я. Эйдельман, хотя новелла эта несомненно входила в круг их интересов (мы не пересказываем ее, так как журнал планирует опубликовать полный текст доклада Панова в одном из ближайших номеров⁵⁷). Этот виртуозный историко-литературный детектив, выдержанный совершенно в духе Эйдельмана, послужил достойным завершением Седьмых Эйдельмановских чтений.

⁵⁷ PS 2019: Статью мне в журнале обнаружить не удалось, но три года спустя вышел с комментариями Панова том пушкиноведческих работ супругов Цявловских; см.: [Цявловские 2000]. Но о чем была новелла? Очень жалею, что не обозначила этого хотя бы в двух словах.

Десять лет без Эйдельмана. Эйдельмановские чтения 1999 года⁵⁸

В нынешнем году исполняется десять лет со дня смерти Натана Яковлевича Эйдельмана, а в будущем году исполнится 70 лет со дня рождения. С напоминания об этих цифрах (вполне эйдельмановского, если учесть пристрастие Н. Я. к «рифмовке» дат и чисел) начал свое вступительное слово, открывшее чтения, *Андрей Тартаковский*.

Если в предыдущие годы тематика выступлений отличалась большим хронологическим разнообразием (некоторые из них касались Киевской Руси или эпохи Ивана Грозного), то в этом году во всех докладах речь шла о времени, которым профессионально занимался Эйдельман: середине XVIII – первой половине XIX века. Как повелось с самых первых чтений, докладчики в большинстве своем говорили о тех предметах, которые наверняка были бы интересны Натану Яковлевичу Эйдельману.

Исключение составляли два выступления, посвященные не столько объектам научного интереса Эйдельмана, сколько ему самому. В докладе «*Способы погружения в историческую эпоху*» *Борис Илизаров* сравнил три типа исторического повествования: роман Томаса Манна «*Иосиф и его братья*», фильм Сергея Эйзенштейна «*Иван Грозный*» и работы Эйдельмана. Томас Манн выстраивает с помощью укрупненных деталей историческую «линзу», сквозь которую читатели смотрят на прошлое и видят только его, а не время автора, Томаса Манна. Напротив, Эйзенштейн, также пользуясь деталями, расставляет в своем фильме метки, позволяющие разглядеть в персонажах эпохи Ивана Грозного деятелей современных: так, странная пластика актера Черкасова в роли Грозного напоминает движения Сталина, какими их сохранила киноплёнка, Малюта Скуратов – «око государево» – напоминает Берию. Эйзенштейн, таким образом, не погружает зрителей в прошлое, но приближает это прошлое к своему собственному времени. Наконец, Эйдельман начинает повествование всегда из современности (отчасти как Эйзенштейн), но потом, для того чтобы дать читателю представление об историческом времени и пространстве, расставляет вехи-опоры (яркие детали, характерные для описываемой эпохи, но немыслимые в современности), которые и держат всю конструкцию его книг.

Доклад Илизарова вызвал некоторый скептицизм у присутствовавших в зале, которые отметили необязательность выбора трех главных «героев» (непонятно, почему в параллель Эйдельману были поставлены именно Томас Манн и Эйзенштейн, а не другие авторы, так или иначе использовавшие в своем творчестве историю). Ощущение необязательности усугублялось тем обстоятельством, что докладчик несколько раз аттестовал себя как «неспециалиста», что, безусловно, не увеличивало доверия к его тезисам.

Предметом второго выступления, посвященного самому Эйдельману, стали его дневники 1977–1989 годов. Вдова историка *Юлия Эйдельман* познакомила собравшихся с выдержками из этих дневников, свидетельствующими о том, как эволюционировала в последние годы мысль Эйдельмана⁵⁹. Записи, сделанные под влиянием трагических обстоятельств жизни (смерть отца и друзей) и часто возвращавшихся депрессий, показывают, что Н. Я. был постоянно недоволен собою; он фиксирует в дневнике «собственную нравственную недостаточность», «второстепенную активность». В середине восьмидесятых годов он окончательно осознает потребность перейти от занятий XVIII–XIX веками к современной истории; если раньше ему было достаточно сознания, что он «не говорит неправды», то теперь ему хочется «говорить правду»,

⁵⁸ Впервые: Знание – сила. 1999. № 11–12. Поскольку регулярность чтений была нарушена, эти «юбилейные» чтения не получили порядкового номера – и, увы, оказались последними.

⁵⁹ Книжное издание дневников см. в: [Эйдельман 2003].

а это предполагает откровенный разговор о советской современности. Это желание возникло у Эйдельмана, когда ни о перестройке, ни о гласности еще не шло речи, поэтому, собираясь говорить правду, он готовится к ответным репрессивным действиям властей (посадить не посадят, но печатать наверняка перестанут). И в самом деле, после выступления Эйдельмана в Доме кино в декабре 1986 года (где он среди прочего высказывал уверенность – в ту пору вполне утопическую – в том, что в Москве рано или поздно появится улица Сахарова) побледневший от ужаса директор заведения спросил у Н. Я.: «За что вы меня так?» Последние три года жизни Эйдельман, по словам докладчицы, провел «в эйфории»: он смог, как и мечтал, переменить предмет своих занятий, начал разгадывать «тайны советского периода». Впрочем, одно из самых радостных его впечатлений этих лет было связано все-таки с прошлым: в 1987 году вышли подготовленные им «Письма из Сибири» М. С. Лунина. Н. Я. был счастлив больше, чем после выхода собственных произведений, и повторял, имея в виду Лунина: «Дождлся старик».

Остальные доклады были посвящены людям, событиям и «концептам» XVIII–XIX веков.

Александр Каменский в начале доклада «*Русское общество, 1740 год*»⁶⁰ констатировал чрезвычайную скудость источников, из которых мы можем узнать об умонастроениях, бытовом поведении и ценностных установках людей этого времени. И о том, как они восприняли происшедшие одна за другой в течение 1740 года перемены в правлении (смерть Анны Иоанновны; возведение на престол трехмесячного Иоанна Антоновича при регентстве Бирона; свержение Бирона и назначение правительницей империи принцессы Анны Леопольдовны). Мемуары, относящиеся к этой эпохе, немногочисленны, а те, что есть, ограничиваются скудными ремарками, такими, например: «Помню, что три раза был в Чудовом монастыре у присяги». Поэтому докладчик использовал в качестве источника для реконструкции бытового поведения людей в 1740 году следственные дела, а именно так называемое дело Ханыкова – Аргамакова, по которому проходило 25 подсудимых. Их обвиняли в том, что они замыслили свергнуть Бирона и сделать регентшей при малолетнем императоре его мать Анну Леопольдовну. Из показаний подсудимых выясняется, что четкого плана ни у кого из них не было: в основном они ходят друг к другу в гости обедать и «с ветреного своего ума» толкуют о политике. Все начинается с того, что поручик Преображенского полка Ханыков через пять дней после того, как он, вместе со всей страной, принес присягу Бирону, рассуждает «сам с собой» в Летнем дворце: почему «мимо наследника» власть отдана Бирону? Хотя говорил он сам с собой, но тем не менее и это, и прочие его рассуждения тотчас сделались известны властям. Эти же разговоры Ханыков ведет (по позднему признанию, не по злему умыслу, а «с единой своей простоты») с другими офицерами, причем собеседники охотно поддерживают его lamentации («До чего мы дожили и какая наша жизнь?» – восклицает, «плакав», другой поручик, Аргамаков) и упрекают друг друга в бездействии, но каждый полагает, что начать выступление против Бирона должен не он, а другой. Солдаты говорят, что готовы выступить, но начать должны офицеры; офицеры считают, что сигнал к действию должны подать солдаты. Кроме того, все ругают «старшие» гвардейские полки – семеновцев и преображенцев – за то, что они не подняли бунта первыми (предполагается, таким образом, что это их священная обязанность).

Обсуждается также и другая форма выражения общественного мнения (помимо открытого бунта) – «подписка», то есть коллективная челобитная (между тем совсем недавно, когда Анна Иоанновна лежала на смертном одре, была сделана «подписка» противоположного содержания: адресованная Бирону, она содержала просьбу, чтобы он принял регентство). Однако дело с подпиской также тормозится невозможностью выбрать «вождя»: на эту роль прочат самых разных особ, вплоть до главы тайной канцелярии Ушакова. Если еще добавить, что именно те из «заговорщиков», кто особенно подчеркивал необходимость соблюдать осторожность, тотчас доносили об услышанном в Тайную канцелярию, то картина вырисовывается бес-

⁶⁰ См.: [Каменский 2004].

порядочная и нестройная. Ясно, однако, что потенциальных заговорщиков более всего волновали проблемы «легитимности» нового регента: если у малолетнего монарха есть отец и мать, они и должны править; что же касается «немецкой» темы, то докладчик констатировал: миф о засилье иностранцев при русском дворе сформировался в последующую, елизаветинскую эпоху, а в 1740 году никто не упрекал Бирона в немецком происхождении.

Доклад *Наталии Мазур* назывался «*К истокам национальной идеологии Николая I*»⁶¹, и речь в нем шла о тех подданных Александра I, кто не принимал его политику и считал, что она подрывает внутреннее положение России. Претензии Александру во второй половине 1810-х и начале 1820-х годов предъявлялись самые разные – от недовольства тем, что он слишком часто бывает за границей, а тех мест на территории России, где проходили самые знаменитые сражения войны 1812 года, не посетил, до упреков в том, что Александровы реформы (например, в Польше) наносят ущерб национальному достоинству и внутреннему единству России (причем характерно, что в этом вопросе действия Александра одинаково скептически оценивали как либералы-декабристы, так и консерватор Карамзин).

Главным средоточием недовольства политикой Александра был «малый двор» его матери, вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Императрица стремилась подчеркнуть свой статус и вес в ущерб старшему сыну, клала в основу своего династического сценария напоминание о смерти Павла I и, следовательно, о нелегитимности Александра (это проявлялось даже в чисто формальных особенностях придворных церемоний: на ежегодной панихиде по Павлу в Петропавловской крепости императрица помещалась во время этой церемонии на возвышении рядом с гробом, а все остальные члены императорской фамилии стояли ниже). Вокруг Марии Федоровны группировались сторонники изоляционистской национальной модели («русская», или антинаполеоновская, партия), и это придавало «малому двору» статус альтернативного политического центра, который притягивал представителей антифранцузских настроений, не призванных в официальную политику. В публичном облике императрицы воплощались два разных концепта – «русской царицы» и «матери отечества», то есть разыгрывались карты национальная и семейственная. И то и другое перенял от матери Николай, воспитанный ею по контрасту с Александром. Николай выступал не только как «русский царь», но и как образец семейственных добродетелей (он сознательно культивировал представление о себе как о любящем и заботливом муже и отце). В противоположность бесполому сакральному монарху Александру I «отец нации» Николай I воспринимался подданными как «первый среди равных», как монарх, который, по умиленному замечанию московского почт-директора А. Я. Булгакова, «любит своих детей так же, как я своих».

Если в докладе Мазур речь шла об общих принципах государственной идеологии, то доклад *Ольги Эдельман* «*Эпизод из биографии Д. В. Давыдова*»⁶² был посвящен случаю частному, но в высшей степени характерному и выразительному. Содержание своего выступления сама Эдельман резюмировала так: о том, как армейское начальство пыталось сделать из шести полковников трех генералов – и вконец среди них запуталось. «Эпизод из биографии», упомянутый в заглавии, заключался в следующем: в январе 1814 года «поэту-партизану» Денису Давыдову объявили о производстве его в генерал-майоры, но уже к осени сообщили, что чин присвоен ему ошибочно и что надлежит ему оставаться полковником. Давыдов, естественно, возмутился таким поворотом дел, стал хлопотать, призвал на помощь влиятельных друзей – и наконец (но лишь в декабре 1815 года) добился возвращения ему генеральского звания.

В советской историографии было принято объяснять этот эпизод неприязнью, которую испытывал император Александр к вольнолюбивому Давыдову. Дореволюционные же исто-

⁶¹ См.: [Мазур 2004].

⁶² См.: [Эдельман 2012].

рики объясняли случившееся причинами куда более прагматическими – путаницей, вследствие которой Дениса Давыдова перепутали с его кузеном, тоже Давыдовым.

С помощью архивных материалов, хранящихся в Российском государственном военно-историческом архиве, Эдельман реконструировала, как именно это произошло. Все дело в том, что тогдашнее делопроизводство не требовало указания инициалов; между тем в описываемый период в русской армии служили одновременно шесть полковников Давыдовых, причем все – в кавалерии. Обычно однофамильцам присваивали номера (Давыдов-первый, Давыдов-второй и прочее), но в данном случае это сделано не было. В результате Александр Львович Давыдов, представленный к генеральству, его не получил, так как в это же время генералом был сделан Евграф Владимирович Давыдов, и начальство не дало хода бумагам Александра Львовича, сочтя, что он уже генерал, хотя на самом деле генералом стал его однофамилец. Александр же Львович, хорошо зная, что он генеральства еще не получил, начал жаловаться и хлопотать, чем поставил начальство перед необходимостью разбираться, какой из Давыдовых был ранен в руку, а какой – в ногу и кто уже стал генералом, а кто еще только этого ждет. Плодом этих разбирательств стала хранящаяся в архиве бумага под названием «Счет Давыдовым», в которой переписаны все шестеро Давыдовых. Когда же наконец и Денис Давыдов в свой черед был представлен к генеральству, начальство, увидев в списках очередного Давыдова, сочло, что речь идет об уже проясненной коллизии с производством А. Л. Давыдова, и Дениса Васильевича вычеркнули. Впрочем, в конечном счете Денису Васильевичу повезло все-таки больше, чем Александру Львовичу: если первый в конце концов отвоевал свое генеральство, то второй, так ничего и не добившись, подал в отставку в чине полковника. Кстати, идентификация Давыдовых ставила в тупик не только старинное армейское начальство: трудности возникли и у современных искусствоведов, которые так до сих пор и не сумели выяснить, какой именно из Давыдовых изображен на знаменитом портрете работы О. Кипренского.

Александр Архангельский в докладе «*Стихотворение М. Н. Муравьева „Богине Невы“ и „Евгений Онегин“*», отталкиваясь от общеизвестного факта – присутствия в первой главе «Евгения Онегина» реминисценции из М. Н. Муравьева, – показал, что муравьевские образы и мотивы не ограничиваются знаменитыми строками из строфы XLVIII («С душою, полной сожалений, / И опершись о гранит, / Стоял задумчиво Евгений, / Как описал себя пиит») и обнаруживаются в других главах (так, «муравьевское» слово «пиит» присутствует также в четвертой главе «Евгения Онегина»). Иначе говоря, собственная стихотворная энергия Пушкина развивается, отталкиваясь от муравьевского источника. Если образы Муравьева присутствуют в «Евгении Онегине», то размер его стихотворения «Богине Невы» отозвался в пушкинском «Пире Петра Великого».

Дмитрий Бак в докладе «*И. С. Тургенев и „русский Берлин“ конца 1830-х годов*» проанализировал бытовое поведение и умонастроения русских молодых людей, которые жили и учились в Берлине в 1837–1840 годах. Все эти молодые люди искали в Берлине не карьеры, а прямого общения с «Егором Федоровичем» (Гегелем), точнее, с его учениками (самого философа к этому времени уже не было в живых). Они ехали постигать «науку логики», и та рефлексия, которой они учились у гегельянцев, распространялась на самые мелкие, бытовые подробности их жизни. Эти формы бытового общения московских юношей, усвоенные ими в Берлине, остались бы запечатленными лишь в их частной переписке, если бы не И. С. Тургенев, который стал посредником между берлинской жизнью московских студентов и литературой; благодаря Тургеневу образ жизни и мыслей этих молодых людей через некоторое время вернулся в литературу текстами – такими, например, как роман «Рудин».

Александр Ошоват посвятил свой доклад «*Новые данные о М. С. Лунине по неизданным материалам А. И. Тургенева*» любимому герою Эдельмана, а точнее, его сочинению «Взгляд на русское тайное общество». Лунин послал «Взгляд» сестре, Е. С. Уваровой, с тем, чтобы она передала его А. И. Тургеневу, который, как надеялся Лунин, смог бы его напечатать.

Текст «Взгляда» сохранился в бумагах Тургенева, однако напечатан он при жизни Тургенева и Лунина (скончавшихся в 1845 году почти одновременно) не был. На основании неопубликованных дневников А. И. Тургенева и его писем к брату Н. И. Тургеневу Осповат попытался объяснить это обстоятельство. В начале 1840-х годов Тургенев несколько раз виделся в Германии с Е. С. Уваровой; его записи, касающиеся этих встреч, дышат недоброжелательностью, вообще встречающейся в тургеневских письмах и дневниках крайне редко. Тургенев не может простить Уваровой, что она «наврала и наклепала» на него; судя по отрывочным намекам в тургеневском дневнике, дело осложнилось вмешательством управляющего Третьим отделением Дубельта, который узнал о существовании рукописи Лунина и оказал давление на его сестру.

В докладе Кирилла Рогова «Тютчев и Погодин, 1843 год»⁶³ речь шла не только и не столько о взаимоотношениях двух литераторов и мыслителей, упомянутых в заглавии, сколько об особенностях восприятия Тютчевым окружающей действительности. Приехав в Москву после восемнадцатилетнего перерыва, Тютчев в письмах к жене описывает свою поездку как «путешествие в прошлое», а свой родной город – в категориях «сна», «призрачности», «небытия». Чрезвычайно характерно при этом, что, желая объяснить жене, какой город предстал перед ним, он неоднократно отсылает Эрнестину Федоровну к третьему тому книги Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году» (которую он в публицистических статьях счел необходимым оспорить). Таким образом, теоретик славянского, православного единства описывал Москву, московские храмы и московскую религиозность с помощью картин и мотивов, заимствованных у прославленного «русофоба» Кюстина.

Наконец, в докладе автора этих строк «Канун революции 1830 года во Франции глазами оптимиста» речь шла о сохранившейся в Архиве внешней политики Российской империи докладной записке «Взгляд на состояние общественного мнения во Франции»⁶⁴. Автор ее, русский дипломат немецкого происхождения Готгильф Теодор Фабер, отличался немалой наблюдательностью и проницательностью; в документе, о котором идет речь, и в своих письмах он рисует эффектные картины парижской бытовой жизни (реклама шляп-присосок, в которых невозможно простудиться, и вкусного бульона, который привозят на дом, а скоро, вероятно, будут доставлять по трубам, так, чтобы он тек из крана) и выразительно определяет основные параметры французского умонастроения: уму французов чтение газет и участие в выборах потребны не меньше, чем их телу – пища; оппозиционные газеты гораздо более популярны, чем проправительственные, и даже те, кто не разделяет мнений либералов, предпочитают черпать сведения из либеральных газет; что же касается выборов, то они переживаются, «как болезнь», но болезнь эта носит «конституционный характер», и французы ни за что не хотят от нее отказаться. И, однако, при всей своей проницательности Фабер в заметке, датированной 1 августа 1829 года, ошибся в главном: он утверждал, что французы не хотят революции и не помышляют о ней, что, хотя их привязанность к Бурбонам носит головной характер, они все верны этой династии, и наконец, что король Карл X никогда не предаст принципы, запечатленные в конституционной Хартии, и никогда эту Хартию не отменит. Между тем ровно через неделю после того, как Фабер написал свою заметку, Карл X отправил в отставку сравнительно либеральный кабинет Мартиньяка и назначил новое правительство во главе с Полиньяком, чьи действия через год привели к революции и свержению короля. Проницательный Фабер не предвидел революции (о приближении которой во Франции, что называется, не говорил только ленивый), потому что не хотел ее предвидеть. Он пытался в своей заметке выдать желаемое за действительное, создать своего рода «альтернативный» исторический сценарий – стремление, свойственное политикам и публицистам самых разных эпох.

⁶³ См.: [Рогов 1999а].

⁶⁴ См.: [Мильчина 2004а; Мильчина 2004б: 39–89].

Дабы не уподобиться предсказателям такого рода, не стану ничего утверждать относительно дальнейшей судьбы Эйдельмановских чтений, скажу только, что очень хочется, чтобы в урочный час, в апреле, они происходили и впредь.

Банные чтения

Песня методологической невинности (она же опыта)

Первые банные чтения

«Парадоксы литературной репутации»

(Музей Вадима Сидура, 21–22 июля 1993 года)⁶⁵

Формально название Первых Банных чтений, организованных журналом «НЛО» и дирекцией Музея Вадима Сидура, в помещении которого и происходили заседания, объясняется названием соответствующего московского переуллка, где расположена редакция (не пугать с Банным проездом – «резиденцией» известного всей Москве обменного бюро!), содержание же, как отметил *Александр Носов*, оно восходит к 11-му номеру журнала «Литературное обозрение» (еще не новое) за 1991 год, в котором с легкой руки его составительницы, а ныне главного редактора «НЛО» *Ирины Прохоровой* было продемонстрировано, что о вещах сомнительной пристойности, ставших, однако, предметом несомненных литературных удач, можно говорить вполне серьезно, сохраняя и проявляя, однако, такое полезное свойство, как чувство юмора. Этот если не шутовской, то во всяком случае шуточный дух (в дальнейшем именуемый «банным») присутствовал на конференции в полной мере, хотя им дело не исчерпывалось; доклады писались и читались всерьез. Впрочем, именно «банный» субстрат обусловил одну замечательную особенность конференции: решительное стирание граней между учеными заседаниями и последующим застольем. Помнится, в драматургии, ну, например, классицизма, был конфликт долга и чувства. Увы, не только там он был. И всякому ведом; его бытовая модификация – прискорбный разрыв между тем, что делается «в рабочее время», «по долгу службы», и тем, что делается потом, для себя. Так вот, прелесть Банных чтений заключается в том, что здесь этого конфликта не наблюдалось. Конференция по сути и по форме была деловая и толковая, добрая половина докладов содержала настоящие научные открытия, а остальные побуждали к совершению таковых благодарную аудиторию – но дух ехидных и одновременно доброжелательных подначек, отсутствие надутого самодовольства (нашедшее наиболее емкое воплощение в максиме *Александра Ошовата*: «Я сам с собой не согласен») роднили трудовые будни заседаний с последующим отдыхом. Переместившись из Музея Сидура, где «банную» атмосферу удачно дополняли и оттеняли жизнерадостные фаллосы сидуровских барельефов, в редакцию «НЛО», за праздничный стол, конференция не изменила своей природы; мощное, как сказали бы адепты новейших литературоведческих теорий, интертекстуальное поле чтений не покинуло ни докладчиков, ни слушателей и по окончании заседаний; словечки, афоризмы и парадоксы из докладов совершенно органично входили в речь людей уже не конфеирирующих, но отдыхающих.

Иными словами, оказалось, что конфликта между серьезным и шуточным можно избежать; это, впрочем, уже доказала выпусками своих... номеров (прошу проставить нужную цифру в зависимости от того, в каком номере будет напечатан этот материал) редакция «НЛО», которую хвалить на ее же собственных страницах, конечно, неприлично, но и не хвалить не позволяет мне природная правдивость.

По поводу атмосферы Банных чтений читателю придется поверить мне на слово, что же касается их интеллектуального и научного уровня, то надеюсь, что те, кто не доехал до Музея

⁶⁵ Впервые: НЛО. 1994. № 6.

Сидура, смогут получить об этом уровне хотя бы некоторое представление из вынужденно лаконичных резюме, которые я расположу в том же порядке, в каком были прочтены доклады на протяжении этих двух дней – 21 и 22 июля 1993 года.

Первые Банные чтения были тематическими, и тема эта была сформулирована следующим образом: «Парадоксы литературной репутации» (в ходе конференции, впрочем, было решено, что уместнее здесь было бы множественное число: «Парадоксы литературных репутаций»).

Конференцию открыл доклад *Андрея Зорина «Как начинались „Православие, самодержавие и народность“»*⁶⁶. Обрисовав своеобразие рассматриваемого случая (репутация есть, ибо все знают о триаде, предложенной С. С. Уваровым, а текстов практически нет, ибо сочинений Уварова, где упоминается прославленная формула, крайне мало, да и те были напечатаны много позже создания), Зорин ввел в обиход новый, крайне важный источник – неопубликованный меморандум Уварова Николаю I (март 1832 года), где, по-видимому, впервые Уваров, в преддверии своего назначения министром народного просвещения, обосновывает ту новую идеологию, какую он намерен предложить императору, и исчисляет три принципа, необходимых для поддержания порядка в России, которую не обошли стороной смута и брожение умов – следствия Июльской революции во Франции и польского восстания 1830–1831 годов. Впрочем, как убедительно показал Зорин, новыми уваровских три принципа можно назвать с большими оговорками. В истории русской националистической мысли все самобытное, заметил докладчик, непременно исходит из немецких источников; так же обстоит дело и с триадой: она есть непосредственный плод общения Уварова с Фридрихом Шлегелем и знакомства с его теориями о сословно-национальной государственности. Характеризуя сами принципы, составившие знаменитую триаду, Зорин превосходно показал их сугубо прагматический характер: в меморандуме Уваров ни разу не употребляет слово «православие», он говорит только о национальной религии; Уварову безразлична сущность православной доктрины, религия важна ему лишь как орнаментальная деталь национальной истории. Сходным образом трактуется и самодержавие; это – может быть, и не наилучший, но необходимый в настоящее время рычаг сохранения спокойствия в России. Итак, православие и самодержавие выступают у Уварова как элементы русской народности, сама же эта народность оказывается принадлежностью чистой идеопсихологии: у подданных Российской империи нет ни общности крови, ни общности языка, ни общности истории, следовательно, народен тот, кто в эту народность верит и ощущает себя ее носителем.

Некоторые из слушателей задались вопросом, правомерно ли выдвигать в качеств «учителя» Уварова лишь Фридриха Шлегеля; назывались другие немецкие философы, писавшие о народном духе. Зорин в ответ пояснил, что Шлегель был первым, кто столь тесно связал меж собой национальное и государственное; до него в апологии народного и национального охотно усматривали революционную крамолу, и об этом хорошо помнил Уваров, когда соединял народность (динамический принцип) с православием и самодержавием – принципами статическими, консервативными, пытаясь тем самым эту сомнительную народность реабилитировать.

Самую оживленную дискуссию вызвали доклады двух исследователей, выступавших вслед за Зориным: *Бориса Дубина («Роль писателя и система литературы»)* и *Абрама Рейтблата («Литературная репутация в России в XIX – начале XX века: источники, механизмы формирования, основные типы»)*. Оба докладчика, профессиональные социологи, чрезвычайно высоко подняли в своих докладах планку теоретических абстракций – и аудитория, состоявшая по большей части из историков литературы, ответила им дружным скепсисом, за что и заслужила от Дубина упрек в методологической невинности. Собственно, спор велся

⁶⁶ См.: [Зорин 1997; Зорин 2001: 337–373].

даже не столько о цели, сколько о направлении движения; Дубин шел «сверху»; в докладе он предложил ряд классификаций (содержательные типы литературных репутаций, источники ее формирования, эпохи, когда ее роль ослабляется или, наоборот, усиливается), однако ни времени, ни, по-видимому, желания прикладывать эту общую (и вполне логичную) схему к буйному многообразию реальных литературных репутаций (и ситуаций) у докладчика явно не было. Зато это с большой охотой проделали его слушатели: каждый поспешил применить предложенную схему к той эпохе, к тому писателю, которым занимается, и обнаружить неизбежные нестыковки. Отсюда был сделан вывод – может быть, чересчур решительный, но, во всяком случае, объяснимый, – об отсутствии эвристической ценности у столь глобальных теоретических построений вообще. Желая призвать эмпириков к порядку, Дубин, не только социолог, но по совместительству еще и блистательный переводчик Борхеса, напомнил один из его парадоксов: дабы не упустить ни одной детали в географии Англии, следует нарисовать карту Англии в натуральную величину. Дубин думал укорить своих оппонентов, а они приняли идею на ура и в мечтах уже стали подыскивать себе на этой карте уютные уголки.

Впрочем, если дискуссию касательно карты Англии следует, безусловно», отнести на счет «банного» субстрата конференции, то многие другие тезисы в ходе обсуждения докладов Дубина и Рейтблата были выдвинуты совершенно всерьез. Рейтблат в докладе задался целью назвать источники приобретения литератором определенной репутации (сначала – салон или кружок, затем – влиятельный журнал); говорил докладчик и о внелитературных факторах как дополнительных рычагах формирования репутаций (были названы такие амплуа, идущие от реальных биографий сочинителей, как «купец», «поляк», «патриот» и проч.). Из доклада, обладавшего своей весьма жесткой внутренней логикой и, казалось бы, куда более приближенного к конкретному материалу, чем доклад Дубина, вытекало, что с литературными репутациями XIX века все более или менее ясно; осталось разве что кое-где дополнить классификацию. Напротив, пафос всех тех, кто участвовал в обсуждении доклада, сводился, пожалуй, к напоминанию: сфера истории литературы и тем более механизм формирования литературных репутаций – объекты исследования, поддающиеся интерпретации, но не классификации. Опыт подсказывал каждому исследователю конкретной эпохи, что у литературной репутации могут быть источники глубоко индивидуальные, в текстах не зафиксированные (такие, например, как мужское обаяние и успех у женщин), и сведение этих многообразных случаев в систему никаких эвристических приобретений нам не сулит.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.